

Слепая Петля

Максим Батищев

18+

Максим Батищев

Слепая Петля

«Автор»

2026

Батищев М.

Слепая Петля / М. Батищев — «Автор», 2026

Мир мёртв. Четыре века назад ядерная война стёрла с лица земли всё, что люди строили веками. Остатки выживших укрылись в подземных бункерах, где жизнь подчинена строжайшим правилам, а каждый ресурс — на счету. Здесь нет места чувствам, сомнениям и случайностям. Только Регламент. Только выживание.

© Батищев М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Максим Батищев

Слепая Петля

Глава

Обычная смена. Ничем не примечательная.

Я скрупулезно вгрызался в мэш-карту слаботочной сети за своим рабочим столом. Вокруг, в полумраке операторского зала Службы Инженерного Замыкания, линейные инженеры-техники моего локуса монотонно шуршали клавиатурами. Серые комбинезоны с люминесцентными полигонами на плечах — единственными метками, по которым Оракул фиксировал силуэты инженеров в ультрафиолетовом мареве зала. Сгорбленные спины, полное молчание. В Курганах болтовню на рабочем месте приравнивали к нецелевому расходу кислорода — и это была не метафора.

Пространство зала подчинялось строгому ведомственному стандарту: глухой четырехметровый фибробетонный мешок, облицованный АБС-панелями, которые за четыре века выцвели до матового костяного цвета. Под ногами едва уловимо гудел антистатический пол, гася наводки от силовых преобразователей реактора, замурованного этажом ниже.

— Серв Бор, в контуре вакуумного сепаратора обнаружены участки деградации фторопластовых труб. Требуется ваше разрешение на внеплановое обследование, — голос инженера прозвучал ровно и сухо, как щелчок предохранителя.

— Запускайте. Без промедлений.

На миг мэш-схемы растворились в неожиданной мысли — о том, как много значит одна мелкая бытовая деталь. Для выживания. Если не всего человечества, то той его весомой части, что ютится здесь. Тысяча человек — чуть больше двух процентов от всей известной нам популяции гомо сапиенс. Интересно, задумывались ли довоенные люди о таких мелочах? Думаю, они начинали ценить комфорт только в момент его утраты: сломанный унитаз, отключение горячей воды — и привычный мир рушится, превращаясь в ад. Только вот кто бы мог предположить, что спустя столетия этот самый коммунальный ад станет для нас не бытовой неприятностью, а вопросом жизни и смерти?

— Серв Бор, вас беспокоит Планк. Мне нужно с вами поговорить.

Самый молчаливый из всей группы внезапно прервал службу и решил обратиться ко мне? На моей памяти такого не случилось ни разу.

— Слушаю, Планк. Я весь внимание.

— Помните, пару месяцев назад Оракул выдал прогноз по фотобиологическому контуру? Согласно его расчётам, эритемные УФ-В лампы деградировали на семнадцать процентов, и отдельные участки требовали внепланового ремонта. Излучение уже не обеспечивало полноценный внутрикожный синтез витамина D у персонала. Так вот... — Планк на мгновение запнулся, украдкой оглянулся на соседей, словно боялся, что его услышат, и продолжил, понизив голос до предела:

— Мы отправили группу на обследование контура. В отчёте значится, что проведены профилактические мероприятия, но ремонтных работ не было. По факту деградации не обнаружили...

Я что, проглядел этот отчёт? В сухих формулировках Регламента, за казённым языком, порой кроются проблемы, способные всколыхнуть весь комплекс. И старшему инженеру прощать себе такую невнимательность нельзя.

— Ты хочешь сказать, что Оракул ошибся в расчётах?

— Нет, не так однозначно, — Планк понизил голос ещё больше. — Но что, если Оракул начал давать сбои, которые оборачиваются нецелевым расходом ресурсов? Что если таких отчётов не один, а десятки?

Я замялся. Вопрос повис в воздухе, требуя не горячности, а холодного, выверенного анализа.

— Спасибо, что сказал, инженер. Продолжай службу. И давай оставим этот разговор между нами — до особого распоряжения.

— Есть! — Планк резко развернулся к пульту и уставился в экран.

Сбои Оракула случались и прежде — техника остаётся техникой, ей не чужды погрешности. Но те ошибки были микроскопическими, почти неощутимыми для баланса систем. Если Планк прав, и машина действительно провоцирует внеплановые запуски Регламента, это уже не шутки.

Впрочем, паниковать рано. Сначала нужно вскрыть архивы, перетряхнуть отчёты за последние полгода, сверить каждый вывод с цифрами Оракула. Только тогда картина прояснится. С другой стороны, а что, если время уже уходит? Если системы Монолитных Курганов действительно под угрозой, а я здесь, в операторском зале, размышляю, вместо того чтобы сорваться с места и, поправ Регламент, ломиться в двери Хранителей Регламента?

Резкий, сухой писк ведомственного терминала на левом запястье вырвал меня из раздумий. Экран, взломав рабочий протокол, полыхнул багровой строкой:

«Старшему инженеру Бору. Немедленно прервать технологический цикл. Передать управление сменой заместителю. Явиться в Центральный зал Директората, Первый ярус. Причина вызова засекречена. Объявлен Экстренный Регламент Высшего Ценза».

Я вздрогнул — одна беда накрывала другую, более тяжёлую. В тот самый миг всё встало на свои места: в Курганах ломается что-то главное, невидимое, и промедление теперь смерти подобно.

— Серв Планк, смену принимаете.

Планк дёрнулся от монитора, будто его ударило током. Голос дрогнул:

— Есть, серв Бор, но...

— Никаких «но». Принимайте. Всё потом.

— Есть!

Я торопливо сгрёб бумажный хлам со стола и, не оглядываясь, шагнул в лифт. Подъём на первый ярус — десять секунд, не больше.

Здесь воздух был чужим. Никакого привкуса перегретого пластика и спиртовой горечи операторских. Я шёл по галерее. Из соседних шахт, с синхронным шипением стравливаемого воздуха, вынырнули трое: Курт, бледный, как спора, энтомолог из Аква-Рециклинга; Йорг, агроном, от которого тянуло нитратным туманом; и Кира, старший хирург-репродуктолог, девушка с руками стерильными даже на вид. Мы — гражданская плоть Курганов, порождение бетона, никогда не сжимавшее приклада. Мы шли плечом к плечу, втянув головы, и тревога ползла по спинам липким ознобом.

В конце коридора тамбур-шлюз нависал круглой, герметичной пастью. У входа, сложив руки на груди, стояли двое — офицеры замыкания Нильс и Ларс. Их взгляды — тяжёлые, неподвижные, без единого намёка на живое движение зрачков — обшаривали нас, гражданских, как бракованные детали.

— Сервы, Хранители ждут, — отрубил Нильс, не повышая голоса.

За порогом разверзлась тьма купольного зала — стометровый слой глины и грунта над головой, перекрывающий всё, что осталось от солнца. В центре зала, словно пуповина мира, вздымался гранитный пилон-стол — вырубленный из скальной породы монолит. Вокруг, в креслах из тёмного фторопласта, сгруппировались старшие инженеры и руководители служб. А в

тени, у дальней стороны стола, замерли они. Их пятеро. Крафт, Грау, Френц, Шотт, Клейн. Хранители Регламента — неподвижные, как базальтовые стелы, обточенные временем.

— Садитесь, сервы, — голос Крафта прозвучал сдержанно, почти ласково. — Начинаем. Регламент не ждёт.

Мы расселись по свободным креслам. Я сжал подлокотники. Это был всего лишь второй раз в моей жизни, когда мне довелось видеть командный состав Курганов — и видеть их всех, в одном зале, одновременно.

Шотт поднялся с кресла. Тяжело. Так, будто каждый сантиметр над сиденьем давался ему с трудом.

— Дорогие сервы.

Голос его прозвучал тускло, без привычной командирской стали. Он прошелся глазами по ряду кресел, задержался на каждом лице ровно на секунду — не дольше, чем нужно, чтобы запомнить.

— Вы — старший персонал комплекса. И сегодня я вынужден сообщить вам то, что мы, Хранители, обсуждали последние трое суток без перерыва.

Пауза. Длинная, вязкая, как смола.

— За последний отчётный период Оракул начал выдавать отклонения. Не рядовые сбои, нет. — Шотт качнул головой. — Масштаб ошибок превышает всё, что мы наблюдали за последние десятилетия. Мы не хотим сеять панику. Но мы не имеем права молчать. Именно поэтому мы здесь — не завтра, не через неделю, а прямо сейчас, в этом зале.

Он перевёл дыхание. В тишине отчётливо слышалось гудение вентиляции — низкое, басовитое, похожее на стон больного зверя.

— Каждая часть Курганов важна. Но Оракул — это не часть. Это разум. Если он начинает давать сбои, весь организм обречён. Рано или поздно. Вопрос только в том, сколько нам осталось.

Я услышал, как кто-то выдохнул — коротко, как удар.

— Вы уже замечали странности в отчётах. Необоснованные запуски Регламента. Нецелевой расход ресурсов. Это неприятно, но терпимо. — Шотт помедлил, в его голосе, впервые за всю речь, проскользнула трещина. — Но есть кое-что, что терпеть нельзя.

Он опустил взгляд на столешницу. На секунду мне показалось, что он колеблется. Что Хранитель Регламента, один из пяти, кто держит в руках судьбу комплекса, боится произнести следующее слово.

— Репродуктологи Службы Здоровья и Генетики забили тревогу. — Голос Шотта упал почти до шёпота. — Дело не в отдельных случаях. Дело в кривой. Из поколения в поколение доля детей с отклонениями держалась на дне — то, что заложено природой, не ниже и не выше. А последние когорты пошли вверх. Генетическая нагрузка удваивается. И Оракул всё чаще не может подобрать паре безопасный расклад — здоровых сочетаний в его картотеке остаётся всё меньше.

Зал замер. Я слышал, как стучит моё сердце — гулко, глупо, слишком громко в этой мёртвой тишине. Шестерёнки, что вращают Курганы, заскрежетали в моей голове. Шотт опустил обратно в кресло.

— Мы собрали вас не для того, чтобы напугать. А для того, чтобы вы знали: мы будем искать выход. Вместе. — Он поднял голову. — Но вы должны понимать цену ошибки. Мы все теперь — смертники. Каждый из нас.

Я сжал подлокотники до боли в пальцах.

— Мы знаем, в чём причина.

Шотт медленно окинул глазами притихший зал — в этом взгляде я прочитал то, что он не решался произнести вслух: мы на краю.

— Оракул умирает.

Два слова. Простые. Необратимые. Они повисли в воздухе, и мне показалось, что даже вентиляция на мгновение затихла, втягивая эту правду вместе с кислородом.

— Мы провели полное сканирование аппаратной части. Оракул не ломается — он стареет. Четыреста лет по его проводникам течёт ток, и всё это время он уносит с собой частицу за частицей металла из жил-межсоединений. Где-то они истончились до разрыва, где-то, наоборот, выросли и замкнули соседние линии. Изоляция под затворами, тоньше человеческого волоса в тысячи раз, копила напряжение десятилетиями — и теперь пробивается, звено за звеном. Транзисторы плывут, теряют точность. Никакой единой поломки. Просто медленное осыпание — как известняковая стена под вечной каплей.

Шотт на мгновение прикрыл глаза.

— Но теперь вычислительная мощность падает. Не катастрофически пока. Он ещё считает. Но всё грубее. Всё мельче. Раньше он моделировал родословные на десять колен вперёд, обходя инбредные ловушки. Теперь на это не хватает уцелевшей логики — он считает «на коленке», приблизительно, как инженер, у которого отказала половина приборов. Нас тысяча. Вы скажете — этого хватает. Правило 50/500 знает каждый: пятьдесят особей против близкородственного вырождения, пятьсот — для долгой жизни вида.

Он помолчал. В тишине кто-то сглотнул — громко, судорожно. Я узнал этот звук. Так глотают перед прыжком в неизвестность.

— Но нас не тысяча. Нас никогда не было тысяча. В эти двери четыре века назад вошла горстка биологических семей — остальное дорисовало время. Тела размножились. Кровь — нет. По-настоящему нас — меньше сотни: те немногие линии, чьи гаметы Оракул счёл чистыми. Из них он и складывал каждого из вас, поколение за поколением, считая родство на десять колен вперёд, разменивая нашу нищую кровь с точностью, на какую не способна слепая случайность. Он держал нас на плаву. Не тысячей людей — горстью выверенных пар. И вот эта горсть иссякает. — Голос Шотта дрогнул впервые за всю речь. — Оракул больше не может просчитывать родословные вглубь. А без этого каждая пара — жребий, каждый ребёнок — ставка вслепую. Вырождение не обрушится на нас завтра. Оно копится тихо, из поколения в поколение. Но окно, в котором мы ещё можем выбирать, закрывается. И закрывает его не природа. Его закрываем мы сами — с каждым сбоем машины, которая одна и умела делить нашу кровь.

Он сделал шаг вперёд, к краю гранитного пилона, и положил руки на его холодную поверхность.

— Я понимаю, что многие из вас столкнулись с другими ошибками мейнфрейма. Необоснованные запуски протоколов, нецелевой расход ресурсов, сбои в мэш-сетях — мы знаем. Мы видели ваши отчёты. Но всё это — следствие. А причина — здесь.

Шотт постучал костяшкой пальца по камню.

— Поэтому мы, Хранители Регламента, волевым решением ставим проблему Службы Здоровья и Генетики выше всех остальных. — Он посмотрел каждому в глаза — по очереди, без спешки, без снисхождения. — С вашего позволения, сервы. С вашей помощи. Потому что генетический код — это не просто строка данных. Это всё, что мы есть. И если мы потеряем его — нам нечем будет дышать, нечем жить, не ради чего держать оборону на этих ярусах.

Он замолчал. Тишина стала плотной, как металл. Я смотрел на его руки — крупные, мозолистые, лежащие на камне. Руки человека, который привык ремонтировать, чинить, спасать. Но сейчас перед ним была поломка, которую нельзя починить отверткой.

— Мы не ищем одну серебряную пулю, — голос Шотта окреп, в нём снова зазвучала командирская нотка. — Мы готовы рассматривать любые варианты. Если у проблемы есть несколько решений, и все они верны, — есть смысл использовать их все, а не цепляться за одно.

Он обвёл взглядом зал, словно проверяя, слушают ли его.

— Мы готовы выслушать ваши идеи, друзья-сервы. От себя мы можем предложить...

Шотт замолчал. Сделал глубокий, тягучий вдох, будто зачерпывал воздух со дна колодца.

— Всем вам известна история, случившаяся много десятилетий назад. Офицер замыкания по имени Ньютон отправился на Поверхность — изучать фауну в радиусе десяти километров от Курганов. Его миссия по неизвестным причинам растянулась на пятьдесят три дня. Эта история оставила после себя больше вопросов, чем ответов, и сейчас нас не интересует, как он умудрился выжить там так долго. — Шотт повысил голос, перекрывая нарождающийся шёпот. — Важно другое: он вернулся. И принёс с собой информацию. Объёмную и странную. Настолько странную, что наши предки сочли её бредом обезумевшего человека.

Он сделал небольшую передышку.

— Возможно, они поторопились с выводами.

В зале воцарилась звенящее оцепенение, которая бывает только перед бурей. Хранители меняли правила. То, что долгие годы считалось страшилками для младших ярусов — сказки про камнедухов и их сокровища, — теперь вдруг предлагалось рассматривать как шанс.

— Позвольте, серв Шотт! — Голос Киры прорвал это безмолвие, как лезвие ткань. Она поднялась, я видел, как горят её глаза. — Вы предлагаете нам поверить в легенды о камнедухах? В волшебные реликвии, спрятанные в подземельях Эпицентра? Простите, но мы — люди науки. Нам не к лицу уповать на чудеса. Мы должны оперировать фактами. А факты таковы: даже если в Эпицентре что-то уцелело, мы понятия не имеем, в каком состоянии это «что-то» находится. И главное — есть ли у нас хоть малейшая возможность добраться туда живыми? Я уже молчу о полноценной исследовательской экспедиции.

Она говорила резко, жёстко, без тени колебания. Кира всегда славилась своим бескомпромиссным характером. Даже перед лицом Хранителей она не сгибалась, не пряталась за дежурными фразами. Она высказывала вслух то, что мы, простые служащие, вечно зажимали в груди — из страха, из веры в Регламент, из привычки не поднимать головы.

Шотт слегка кивнул. Удивительно, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение.

— Вы правы, Кира. Абсолютно правы. Ставить на карту судьбу Курганов ради легенд — безумство. Я это понимаю. Но перед смертью Ньютон оставил бумажную карту. Метка там одна — координаты тайника, где находится некий «архив». Примерно в тридцати километрах к западу от входа в комплекс. Да, его собственные исследовательские записи содержат бесценный источник знаний. О природе, о флоре, о фауне Поверхности... Вы можете ознакомиться с ними, если захотите. Там нет ничего таинственного. Однако, друзья-сервы... Факт есть факт. Ньютон выживал на Поверхности долгие недели один, без связи, без поддержки, без надежды, что кто-то придёт ему на помощь.

Он поднял руку, успокаивая нарастающий гул.

— С одной стороны, мы разделяем ваш скепсис. У нас нет причин доверять человеку, которого официально признали душевнобольным. С другой... если эти материалы действительно существуют, они — бесценный источник информации. Стратегического значения.

Он тяжело опустился в кресло, будто слова вынули из него последние силы. Пластик жалобно скрипнул под его весом.

— Мифы о Зеркале Судеб, предсказывающем будущее, о камнедухах... — Шотт посмотрел куда-то в пустоту. — Они могут оказаться просто мифами. Глупыми страшилками, которыми пугают детей... Или чем-то большим...

— Как бы то ни было, наша цель — продлить жизнь Оракула, — перехватил слово Френц.

Он говорил с ленцой, почти неохотно, но каждое слово падало в застывший воздух, как камень в стоячую воду. Его лицо — морщинистое, сухое, без единой тени эмоции — напоминало маску, вырезанную из старого камня. Только глаза выдавали живое: голубые, острые, они резали зал насквозь.

— Вы ведь не думаете, что мы рискуем жизнями наших людей ради проверки сказок о камнедухах и Урмовых Патриархах? — Он позволил себе короткую, холодную усмешку. —

Нет, друзья-сервы. Всё куда прозаичнее. Отцы-Основатели дали нам топливо на века и научили реактор кормить самого себя. Но кремниевых плат в консервации нет. Их нельзя вырастить, как плутоний из урана, нельзя переложить, как сборку. Их можно только найти — уцелевшими, в мёртвой технике по ту сторону стен. Было ли это просчётом Основателей или они полагались на иной протокол — уже неважно.

Вкрадчивый голос Френца обволок зал, как туман:

— Важно другое: как уже сказал Шотт, верны все возможные варианты. А значит, выбор прост. Мы обязаны использовать все. Без остатка. Ньютон оставил после себя не только сказки, но и десятки часов записей допросов и медицинских обследований. Теперь мы готовы дать вам доступ к этим архивам. Нам нечего скрывать. Мифы остались в памяти жителей Курганов. Но в архивах остались и рассказы об уцелевших довоенных хранилищах, наполненных законсервированной техникой.

Нельзя было не заметить, как ловко Френц разряжает обстановку. Его бархатистый, почти гипнотический голос мог бы успокоить разъярённого шлакового вепря в брачный сезон. Но сейчас этот голос заставлял меня внутренне сжиматься.

— Согласитесь, друзья сервы, это уже внушает доверие, — продолжил Френц. — И, возможно, это наш единственный шанс. Мы не знаем, что скрывает тот самый «архив». Ньютон был сломлен, тяжёлое посттравматическое расстройство выжгло в нём почти всё человеческое. Но он оставил нам точку опоры. И теперь мы обязаны за неё ухватиться.

— Простите, что прерываю, серв Френц, — раздался голос откуда-то справа. Тесла. Мой прямой руководитель, высокий, вечно взъерошенный, с пальцами, испачканными графитовой пылью. — Но разве мы не можем обратиться за помощью к другим комплексам? Нам известно о сорока семи функционирующих объектах. Может, кто-то из них откликнется?

Френц неторопливо перевёл взгляд на Теслу. В этом взгляде было всё: и усталость, и разочарование, и снисходительность старого учителя, который уже сто раз слышал этот вопрос.

— О да, серв Тесла. Это было первое, что мы сделали. Мы разослали сообщения всем. Описали проблему честно, без утайки. И получили ответы. Все до единого. Вежливые, дипломатичные, но категоричные отказы.

Он скрестил руки на груди.

— Я понимаю их. Поставьте себя на их место. Что для вас важнее — ваши люди, которых вы видите каждый день, или чужая беда за сотни километров? Стратегические запасы не подлежат обмену. Это аксиома. Их нельзя продать, подарить, одолжить. Особенно когда запас — это единственное, что отделяет ваш комплекс от смерти.

— Мы понимаем все риски, — вступил Крафт.

Он сидел в центре, прямой, статный, как изваяние. Седая борода струилась по серому комбинезону, огромные карие глаза смотрели на нас с той спокойной мудростью, которая приходит только после долгих лет потерь и побед.

— Поэтому мы собрали всех вас. — Он обвёл рукой полукруг кресел. — Лучших. Тех, кто прошёл через огонь, воду и медные трубы Курганов. Ваши умения, ваши знания, ваш опыт — это не просто строки в личном деле. Это наш последний козырь.

Крафт остановился, прочистил горло. Я заметил, как дрогнула его рука, когда он поднёс её к лицу. Старость. Она не щадит даже Хранителей.

— Нам нужны девять добровольцев, — продолжил он. — Минимум двое из них должны быть офицерами замыкания. В ближайшее время мы разошлём уведомления на персональные терминалы всех жителей комплекса в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет. Формулировка будет краткой и максимально сухой, поэтому линейные и младшие специалисты, естественно, пойдут за разъяснениями к вам, уважаемые сервы. Будьте добры, объясните им всё. Честно. Без купюр. Без попыток смягчить правду. Мы начнём миссию тогда и только тогда, когда будет полностью укомплектован отряд добровольцев.

Крафт плавно поднялся.

— Мы загнаны в угол. Каждый из нас. Но даже в такой ситуации мы не станем назначать участников миссии приказом. — Его глаза встретились с моими. На секунду, не дольше. — Это решение должны быть принято самостоятельно с полным осознанием всех рисков.

Он опустил обратно на своё место. Я смотрел на него и чувствовал, как внутри разрастается тревога. Не от страха. От осознания: мы действительно на краю. И за этим краем — только выбор. Идти или не идти. Жить или ждать, пока жизнь угаснет сама.

До этого момента Хранитель Грау не проронил ни слова. Он сидел неподвижно, и я успел забыть о его присутствии — настолько он умел растворяться в воздухе, становиться частью каменного интерьера. Но теперь он поднялся.

Грау был худ. Лет пятидесяти, но без единого признака возраста на лице — ни морщин, ни седины, ни растительности. Ни бровей, ни ресниц, ни волос. Только гладкая, матовая кожа, натянутая на череп, и тонкий, ровный, как лезвие, нос. Он напоминал мне статую, которую неправильно долепили — забыли добавить человеческих черт. Голос его, когда он заговорил, оказался неожиданно мягким, почти шёпотным, но при этом странно отчётливым — каждое слово врезалось в тишину, как гравировка в камень.

— На этом Экстренный Регламент Высшего Ценза предлагаем считать выполненным.

Грау смотрел сквозь нас, куда-то дальше, через тяжелые фибробетонные стены, через слои земли, в небытие, которое ждёт всех в конце.

— Возвращайтесь на места несения службы.

Его голос сорвался? Или мне показалось? Я не был уверен. Грау оставался непроницаемым.

Зал медленно оживал. Где-то слева зашкрипело кресло — кто-то поднимался. Справа раздался приглушённый кашель. Шаги и шёпот, тут же стихнувший, придавленный тяжестью услышанного. Я неспеша поднялся. Комбинезон противно прилип к спине — я даже не заметил, как вспотел. Сделал шаг к выходу, и ноги показались мне чужими, ватными, будто я долго спал и никак не мог проснуться. Служба не ждет.

Меня уже ждали на втором ярусе, в Службе Программной Педагогики. Сегодня был важный день — я должен был забрать троих учеников на стажировку. Дети, с десяти лет, теперь будут совмещать учёбу с работой: несколько часов службы в день, остальное — занятия. Через пару лет из такого подмастерья вырастает полноценный линейный инженер.

Лифт остановился, двери разъехались, открывая широкий бетонный коридор с высокими потолками. Я пошёл прямо, к развилке в конце. Налево — вход в центральный зал. Я знал здесь каждую дверь, каждую комнату — годы, проведённые в этих стенах, вьелись в память. В одной из аудиторий меня ждала серв Монтессори. От неё я получу троих новобранцев. Сегодня — их первый день стажировки.

Я нашел нужную дверь, постучал и вошел. В просторной аудитории сидели ученики, трудно было посчитать сколько их. Все на одно лицо — короткостриженные, худые, они сидели на стульях, окружив своего ментора — женщину пятидесяти лет, с широким, строгим лицом и седыми волосами. Это была Монтессори. Она стояла в центре полукруга, а позади нее на огромном экране, встроенном в нишу на матовой стене, была запутанная схема — множество жилок, строго переплетававшихся между собой, пронзая этажи и стены нашего комплекса. Я сразу ее узнал.

— Это Белковая Петля, молодые сервы, — вещала на всю аудиторию Монтессори. — Циклопическая система, инженерно-биологическая, выстроенная ещё Отцами-Основателями. Её называют замкнутой, но по-настоящему замкнутого не бывает. Петлю крутит не сама Петля — её вращает реактор: без тепла и тока весь этот вечный оборот встал бы за сутки, потому что

даже разбор отходов требует энергии. Внутри труб, течёт отработанная вода — из душевых шлюзов, из каютных сифонов, из всех мест, где мы оставляли следы своего присутствия. Даже наши с вами отходы уходят туда — в компрессионных унитазах при сливе индукционный насос высасывает содержимое сжатым техническим азотом и под давлением отправляет по магистралям на самый нижний ярус. Но прежде, чем эта вода напоит аэропонные туманы пшеницы или запустит биореакторы хлореллы, всё, что она несла, проходит через стену. Не стальную — химическую. Бактерии в тёплых метан-танках разбирают органику до простейших оснований: до угольной кислоты, до аммиачной соли, до фосфата. И только потом, на самом дне цикла, хлорелла и корни собирают из этих кирпичей белок заново — атом за атомом, с чистого листа.

Дети замерли, впитывая каждое слово. В аудитории повисла абсолютная тишина — ни шороха, ни вздоха, только голос Монтессори.

— И запомните главное. Она не переливает плоть в плоть. Она разбирает живое до мертвого — и лишь из мертвого строит новое живое. Человек не ест человека: между нами всегда стоит стена из простейших молекул. Каждый оборот теряет крохи: щепоть фосфора, глоток азота, пыль металла. Нам оставили запас, из которого мы черпаем эту недостачу...

Монтессори оборвала лекцию на полуслове, заметив меня. Ученики мгновенно встали — привычный ритуал, отточенный до автоматизма.

— Серв Бор. Рада вас видеть. Галилео, Франклин, Эллен — для вас занятие окончено. Следуйте за сервом Бором.

Трое учеников торопливо подошли ко мне: двое мальчиков и девочка. Я не различал их лиц — только серые комбинезоны и одинаково настороженные взгляды.

— Благодарю, серв Монтессори. Прошу прощения за беспокойство. — Я перевёл взгляд на стажёров. — Друзья-сервы, идёте со мной.

Мы направились на пятый ярус, в операторский зал. Теперь оставалось распределить стажёров по линейным инженерам. Никому эта обязанность не нравилась — отвлекаться на молодняк, тратить время, объяснять одно и то же по десять раз. Но Регламент требовал. И только так в Курганах вырастали настоящие специалисты. Других тут просто не бывало.

Дети заметно волновались — первый служебный день, не шутка. Мы вошли в операторский зал. Инженеры, согнувшиеся над терминалами, подняли головы, и на нас уставились десятки усталых глаз.

— Нобель, Берцелиус, Бойль. Принимайте пополнение.

Они нехотя оторвались от своих мест и подошли ко мне. По лицам читалось: без особого восторга. Я понимал их — учить новичков никто не любит.

— Нобель, за тобой Галилео. Берцелиус — Франклин. Бойль, ты будешь отвечать за... — Имя девочки вылетело из головы.

— Эллен, — тонким, взволнованным голосом подсказала девочка.

— Да, Эллен. Спасибо, — кивнул я. — Начнём с уборки. По графику она только через три дня, но работы уже накопилось — есть чем заняться.

Формальности на сегодня были окончены. Этими юнцами займутся, и скоро мы перестанем замечать их — они станут частью команды, и будет казаться, что так было всегда.

Я начинал чувствовать голод. Рабочий день подходил к концу, а я так и не притронулся к пайку — такое иногда бывает, когда работа заслоняет собой даже голод. Я прошёл мимо своего рабочего места и направился в служебную распределительную нишу. Там уже никого не осталось. Дежурные инженеры-техники разошлись — каждый принял свою норму суточного пайка и растворился в служебных коридорах.

Сегодня нам повезло. Я опустил на жёсткий пластиковый стул, развернул серебристый термопакет, и из его недр потянуло паром. Горячая картофельная пюре-паста — из обогащённого кальцием сухого крахмального концентрата. Рядом лежали листья селекционного шпината: темно-зелёные, упругие, пахнущие землёй. И брикет, розовый, спрессованный, обезво-

женный до состояния камня — сублимированный свиной фарш, который, попадая в горячую воду, набухал, превращался в нечто почти живое, почти настоящее.

Я смотрел на это скудное изобилие, и в груди шевелилось странное чувство. Благодарность? Или обречённость? Мы радовались сублимату, как пиршеству. Мы называли «повезло» — то, что когда-то назвали бы «рационом заключённого». Что бы сказали довоенные люди, глядя на мой ужин? Ужаснулись бы? Или позавидовали бы тому, что я вообще жив? Шутка ли? Четыреста лет. Четыре века. Сорок десятков лет, которые уложились в одну-единственную секунду — ту самую, когда небо раскололось, земля вздрогнула, и мир, каким его знали, перестал существовать.

Мы пережили ядерную войну. Выжили. Спрятались в бетонные утробы Монолитных Курганов, и забыли, что такое солнце. А наверху, там, где когда-то шумели города и пахло хлебом, теперь только тайга. Бескрайняя и холодная. Белая до синевы, до боли в глазах — такой белой, что она кажется не снегом, а пеплом.

И в этой тайге — твари, озверевшие и голодные: бурые медведи, шлаковые вепри, болотные кабарги, волкособы. Каждая из них — машина смерти, настроенная на один-единственный такт: учуять, догнать, разорвать. Один удар лапой, один щелчок челюстей — и ты уже не человек, ты статистика, ты строка в отчёте потерь.

Четыреста лет назад мы были богами. Строили небоскрёбы, запускали ракеты, лечили болезни, смеялись, любили, покупали хлеб в упаковках, не думая о том, сколько в нём зерна и откуда оно взялось. Мы были сытыми и глупыми. И бессмертными — по крайней мере, так нам казалось.

Как-то раз мне довелось спуститься на ярус Службы Аква-Рециклинга. Туда, где выращивают карликовых свиней. Я шёл по магистральному штреку — длинному, сырому, освещённому лишь тусклыми сапфировыми GaN-лампами, встроенными в бетонный потолок. Вдоль стен, уходя в полумрак, тянулись тefлоновые артерии. Толстые и пульсирующие — они напоминали мне вены гигантского животного, спящего в недрах земли.

Я помню тот момент, когда моя рука коснулась холодной стали перегородки. За двойными затворами — внизу, на самых нижних горизонтах, — было тихо. Почти тихо. Но если прислушаться, за гудением компрессоров можно было различить монотонное, утробное хрюканье. Карликовые свиньи. Они жили там, в темноте, перерабатывая пасту из муки личинок Черной Львинки в драгоценные брикеты. В мясо. В ту самую розовую плоть, которая ждала меня сейчас в термопакете. Свиней кормили не нами — нас Петля до них не пропускала. Это знает каждый житель Курганов. Их кормили личинками, а личинок — растительной массой, выросшей из той самой обезличенной минеральной взвеси. Кровь возвращалась в кровь. Но сначала переставала быть кровью.

Там же, в соседних отсеках, плескалась тилапия — неприхотливая рыба, не знавшая ни рек, ни морей. Ее кормили сушеным концентратом из тех же личинок и хлореллы. А готовый продукт превращали в такие же брикеты, прошедшие сублимацию и стерилизацию — плоть, лишенная памяти о том, чем она была.

Я поднес ложку ко рту. Пюре было горячим, густым, почти сладким. Шпинат — хрустящим, свежим, хотя эта свежесть была искусственной, рассчитанной, выращенной под лампами, в туманах аэропоники. Брикет, размоченный в кипятке, распался на волокна и пах дымом, жиром, жизнью — той, которая никогда не видела солнца.

Я жевал и думал о том, как странно устроены Курганы. Всё здесь — даже еда на моем столе — было частью одного большого, почти замкнутого механизма. Он держался на честном разрыве посередине. Мы пьем воду, которой мылись, — но не раньше, чем она забудет, что была нашей. Мы едим белок, собранный из атомов наших же отходов, — но никогда не саму плоть. Мы дышим воздухом, пропущенным через водоросли, очищенным от нашего же дыха-

ния. Между каждым «до» и «после» стоит стена. Невидимая, но абсолютная. И вся наша жизнь держится на том, чтобы эта стена ни на миг не дала трещины.

Мы — часть Петли. И Петля — часть нас. Но между нами — всегда пропасть простейших молекул. Только она отделяет нас от той порчи, что дремлет по ту сторону разбора, ждет своего часа и помнит всё, что мы пытаемся забыть.

Я доел до последнего грамма. Собрал обёртки, бросил их в утилизатор, и на мгновение задержал руку над его чёрной пастью. Интересно, куда уйдёт этот пластик? В биореактор? В переплавку? Или он тоже станет чьим-то ужином? Вопрос остался без ответа.

В нишу зашёл мальчик. С ведром, шваброй и пачкой тряпок, перевязанных бечёвкой. Бритая голова, глубоко посаженные глаза, широкие плечи. Один из наших стажеров.

— Позвольте войти, серв Бор, — промолвил мальчик.

— Заходи, я не буду тебе мешать.

Паренёк вошёл, поставил ведро, окунул тряпку в мыльную воду и методично, с какой-то угрюмой обречённостью, начал протирать пищевой сифон. Тот самый, откуда инженерам поступал их скудный паёк.

— Как тебя зовут?

— Галилео, — сухо бросил он.

Я заметил обиду в его глазах. Понятно. Служба Программной Педагогики отправляла учеников на первую службу, когда у тех ещё молочные зубы не выпали. Поддерживать порядок, протирать пыль, мыть сифоны — все мы через это проходили. С младых ногтей приучает к дисциплине и, что важнее, освобождает вечно загруженных служак от лишней работы. Но парень, видно, ждал на своей первой настоящей службе чего-то другого.

— Не переживай, мой юный друг. Всё у тебя ещё впереди. Работа никуда не денется — каждый день одно и то же, так что не торопись.

Мальчик, не отрываясь от дела, коротко обронил:

— Спасибо, серв Бор. Простите, что отвлекаю вас.

— От чего? От моего ужина? Не волнуйся, беседа за едой — это всегда приятно. Тебе нравится здесь?

Паренёк слегка поёжился. Он не хотел отвечать — было видно, что это не то, чего он ждал. Большинство мальчишек его возраста мечтают стать офицерами замыкания: им кажется, что в их службе есть что-то головокружительное, почти героическое. Но со временем этот запал гаснет — серые будни Курганов стирают любую романтику.

— Наверное хотел попасть в офицеры? Увидеть Поверхность? — спросил я.

Галилео на мгновение замер. Поверхность. Запретный плод, он всегда сладок. Но все, даже младенцы, знают: смерть поджидает там за каждым сугробом, за каждым деревом, за каждой тенью. Страх и любопытство борются в каждом из нас. И в этом мальчишке тоже.

— Понимаю. — Я кивнул. — Скучные лекции наших педагогов не отражают того, что в реальности мы все видим там, на Поверхности.

Мальчик прервал уборку. Повернулся ко мне. Большие карие глаза загорелись огнём.

— Вы там были?

— Да, я там был. Как и все жители Курганов. Один раз даже прошёл два километра в составе малой группы. Это обязательная часть Регламента — базовое знакомство с тем миром, который нас окружает.

Парень отвернулся, снова взялся за тряпку, но я видел: он слушает. Он жадными ушами ловит каждое слово.

— Что Вы там видели? — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал невозмутимо, но у него не получилось. — Там всё так же, как рассказывают менторы?

Я улыбнулся. Тёплая, грустная улыбка взрослого человека, который помнит свои первые шаги по той же самой земле.

— Можешь мне поверить, Галилео: их слова — даже на малую толику не отражают того, что ты там увидишь. Всё иначе. Всё — больше, страшнее, прекраснее, чем можно описать словами.

Я прикрыл глаза, и картинки сами собой всплыли перед внутренним взором. Как сейчас.

— Поверхность — это лёд. Не тот, к которому мы привыкли, а заструги — волнообразные, острые, как бритва, гребни из слежавшегося снега. Они вытянуты по ветру, и под ногами такой снег звенит, как стекло.

Мальчик смотрел на меня не дыша.

— А за границей Курганов сразу начинается Бореальная Тайга. Бесконечная, глухая. Деревья там — про них можно говорить бесконечно: дубы с корой в глубоких трещинах, вязы с листьями, как камень, металлические ивы. Они не просят пощады — просто растут там, где больше ничего не выживает.

Галилео замер, держа тряпку на весу.

— А ещё вдалеке видны холмы. Серая Гряда, мы её так называем. Раньше там были дома, улицы, целые кварталы. Теперь — просто известковые бугры, сглаженные ветром. Даже трава там не растёт, только редкие сухие стебли, жёсткие, как стекло.

Я перевёл дух.

— И ещё — Стальные Клетки. Ты их обязательно заметишь, если когда-нибудь выйдешь. Огромные решётчатые колонны, опоры, эстакады — всё из стали. И они все согнуты, перекручены, как проволока. От взрывов, наверное. Или от времени. Они стоят там уже сотни лет. Мы проходили мимо них, и мне казалось, что они стонут на ветру. На самом деле просто ветер гудит в пустотах, но звук такой, будто живое.

Мальчик молчал. В его широко раскрытых глазах отражался холодный огонь моего рассказа.

— И небо, Галилео. — Я до сих пор его помню. Низкое, серое, тяжёлое. Солнца не видно — только мутное пятно, которое светит, но не греет. И всегда сумерки. Ни дня, ни ночи — просто серая бесконечность. Привыкнуть к этому невозможно.

Я замолчал. Галилео стоял неподвижно, забыв про тряпку и ведро. Его губы чуть шевелились, будто он повторял про себя мои слова, пытался запомнить.

— Спасибо, серв Бор, — наконец сказал он. — Я... я буду готовиться.

— Я знаю, Галилео. — Я кивнул. — Ты будешь готов. И ты справишься. Только запомни: страх — это не слабость. Страх — это инструмент. Используй его. Но не дай ему использовать тебя.

— Серв Бор... — Галилео замаялся, переступил с ноги на ногу, и я увидел, как дрогнули его ресницы. — Менторы не любят такие вопросы, но... Вы что-нибудь знаете про Эпицентр?

Он поднял на меня глаза — огромные, карие, в них плескалось запретное любопытство, которое всегда живёт в детях, которым строго-настрого запретили спрашивать.

— Правда, что там, в подземельях, живут камнедухи?

— Где ты такое услышал?

Галилео потупил взгляд. Его пальцы нервно теребили край мокрой тряпки.

— Я... — он запнулся. — Мне... Я слышал от других учеников. В шепоток. Они говорили, что их старшие братья рассказывали, а те слышали от кого-то из офицеров...

Пришлось жестко перебить его на полуслове:

— Это старая легенда, Галилео. — Я сложил руки на груди. — Никто никогда не видел никаких камнедухов. Тем более в Эпицентре. От ядерного удара там никого не осталось в живых. Это мёртвая зона.

Мальчик опустил голову, но я видел: он не поверил. Не до конца. В его глазах всё ещё горел тот маленький, упрямый огонёк надежды, который заставляет детей верить в чудеса.

— Но миф есть, — проговорил я. — Якобы в подземных лабиринтах Эпицентра уцелели кланы суровых дикарей. Они деградировали — потеряли технологии, науку. Но они адаптировались. Выжили там, где нормальный человек сдох бы за минуту. Говорят, они небольшого роста. Кожа тонкая, бледная, почти прозрачная — сквозь неё проступает синевя вен. Они худые до костей, головы выбриты, а зрачки — вечно расширенные, будто они постоянно живут в сумерках. И капилляры в глазах лопнувшие, красные ниточки на белках. Они не чувствуют яда Поверхности. Воздух Поверхности, подземелий — им всё нипочём. Их кожа всегда покрыта чёрной, липкой бронёй из берёзового дёгтя, золы и мазутного нагара.

Я остановился и посмотрел прямо в глаза Галилео.

— Они часто выходят на Поверхность. Исследуют Эпицентр. Ищут всё, что может помочь им выжить — металл, пластик, провизию. Всё, что мы, люди Курганов, давно разучились находить. Они мало живут. Но они смогли наладить свой быт в этих условиях. Изготавливают одежду из того, что находят, примитивное оружие. Они настоящие выживальщики. Может быть, лучшие из всех, кто остался на этой планете.

Галилео слушал. Его руки опустились, тряпка повисла.

— Камнедухи живут кланами. В разных частях подземелий Эпицентра. У них есть свои святыни, свои ритуалы — можно сказать, своя религия. Они верят в силу святынь, и, как правило, не враждуют между собой. Раз в какое-то время они проводят ритуал Обмена Кровью — обмениваются двенадцатилетними девочками. Святыни для камнедухов — их движущая сила, их мотивация выживать.

Я умолк, ожидая, пока он переварит услышанное.

— У них есть священный алтарь, — продолжал я. — Зеркало Судеб. По легенде, это предмет, способный предсказывать будущее. Оно говорит камнедуху, сколько ему осталось жить. Или в каком участке подземелья его ждёт опасность. Камнедухи знают, где находятся Жилы Вечности — могущественные реликвии, которые продлевают жизнь до невероятных пятидесяти—шестидесяти лет. Иногда кланы объединяются для Великих Соборов. Они унаследовали от предков знания о том, как «ублажать» святыни, как заставлять их приносить дары.

Я дал словам осесть в тишине. Галилео смотрел на меня, не мигая. Всем нам когда-то рассказывали эти легенды. Их любили не только дети, но и взрослые. Бывало, хорошего рассказчика собирались слушать целыми толпами.

— Есть клан Шлаковых Призраков. Маленькие подземные карлики, ростом не выше ста двадцати сантиметров. Их тела имеют матовый, грязно-белый, каменный оттенок. Они сливаются со стенами, прячутся в тенях, их почти невозможно заметить.

Я подался вперёд, стараясь, чтобы лицо осталось непроницаемым. То, что я собирался сказать дальше, будет страшнее всего, что было до этого.

— А есть клан Красных Стражей. Последователи культа Красного Искупителя — магического монолита, который требует жертв. Крови. Много крови. Они жестоки, опасны, охотятся на обитателей других кланов. Их тела невероятно могучи — они ростом с обычного человека, но гораздо сильнее. Они живут дольше, меньше болеют. Говорят, они нашли особые реликвии — Чёрные Кресты. Это не доспехи и не броня. Они верят, что Чёрные Кресты — живые существа. Их посылают высшие силы в награду за жертвы. Крест «вселяется» в тело Красного Стража. И дарует ему силу, скорость, выносливость. Делает его неуязвимым.

Мальчик не двигался. Его лицо побелело, на лбу выступила испарина. Я видел, как дрожат его руки.

— А есть ещё Жнецы Плоти, клан каннибалов. В определённое время они выходят на охоту — это называется Зов Плоти. Они похищают своих сородичей из других кланов и поедают их. У обычных дикарей зубы выпадают — бериллий разрушает костную ткань. Но у каннибалов выжили только те, у кого челюсти аномально плотные, склерозированные. Их зубы не просто сохранились — они превратились в острые костяные пеньки. Губ нет совсем,

поэтому челюсти застыли в вечном, жутком оскале. Их зрачки непрерывно дрожат во тьме, они видят тепло, инфракрасные следы жертв. А белки их глаз полностью багрово-красные — капилляры лопнули от чудовищного давления. От избытка животных белков, от соли.

Паренек сжал кулаки. Его дыхание стало прерывистым.

— Вы верите в них, серв Бор? — спросил он, едва шевеля губами.

Я на секунду остановился. Посмотрел на него — на этого мальчишку с бритым черепом и горящими глазами, на его дрожащие плечи и сжатые кулаки.

— Я верю, что этот мир — страшное и одновременно удивительное место. Что в нём страшного? Суровая тайга, которая никогда не прощает ошибок. Дикие твари, липкие кадмиевые хляби, зеркальные туманы...

Горло пересохло — слишком много слов. Пора заканчивать. Тем более что мне самому нужно было ещё раз вспомнить всё то, что хранили в Курганах как устную память.

— Но в то же время, — продолжил я, — тут есть место и чудесам. То, что мы сейчас сидим здесь, в тепле и безопасности, под стометровым слоем юрской глины, и рассказываем друг другу сказки про страшных камнедухов — что это, если не чудо? — Я улыбнулся. — В мире, где всё настроено на то, чтобы тебя убить, просто сидеть и говорить с кем-то — уже чудо. Разве нет?

Лицо Галилео посветлело. Его губы дрогнули в робкой, светлой улыбке — первой улыбке за весь наш разговор. В его глазах больше не было обиды. Только тихое, доверчивое тепло.

— Запомни главное: чудовища в этом мире — это не трёхголовые монстры из старых книг. Это просто природа. Она всегда была опасной, а после ядерной войны стала ещё опаснее. Погода, звери, рыбы — всё это никуда не делось. Оно осталось почти тем же, но природа подстроилась под новый мир. Звери ожесточились, стали свирепее, изменились — но это всё та же природа, а не причудливые твари из сказок. А Бореальная Урма... это место, где человеку не выжить. Суровое, жестокое, безжалостное. И оно не прощает ошибок.

— Серв Бор, — промолвил он тихо, почти робко, — а как же Урмовые Патриархи... — В его голосе прозвучало неуверенное любопытство.

Я резко его одёрнул. Жестко, но не грубо. Скорее — строго, как учитель, который вовремя останавливает ученика на краю опасной черты.

— На сегодня достаточно, — сказал я с железной нотой в голосе. — Регламент есть Регламент. И он говорит, что полы здесь ещё недостаточно чистые.

Галилео опустил голову. Его плечи чуть поникли, но я видел: он понял. Он принял границу, которую я обозначил. Он был умным мальчиком.

— Прошу прощения, серв, я не должен был вас утомлять. — Он замялся. — Не говорите, пожалуйста, моим менторам. Они... они строгие. Они не любят, когда мы задаём лишние вопросы.

Я молча кивнул. В горле застрял комок. Я хотел сказать ему, что вопросы — не лишние. Что именно вопросы делают нас людьми. Что менторы тоже были детьми, которые боялись спрашивать. Но слова не пришли.

— Удачной вам службы, серв Бор, — прошепел Галилео.

— Удачной службы, Галилео, — ответил я.

Прошло три недели с того самого часа, когда Хранители Регламента объявили о миссии. С того момента, как слова Шотта повисли в воздухе, тяжёлые, как свинцовые плиты, и осели в каждом из нас где-то под рёбрами. Я не знаю, нашлись ли добровольцы. Я знаю лишь одно: среди них меня не будет.

Я не герой и не смельчак. Я — обычный старший инженер комплекса Монолитные Курганы. Человек, который не рвётся в бой, не мечтает о подвигах и не верит в собственную исклю-

чительность. Моя жизнь — это мэш-карты, распределительные ниши, пайки и смены. Я — звено. Надёжное, исправное, но звено. И мне этого достаточно.

Страх. Вот мой главный двигатель. Страх Поверхности, где воздух — это яд, а снег — это могила. Страх не вернуться назад, не почувствовать под ногами дрожание антистатического пола, не услышать гул компрессоров, не увидеть тусклый свет ламп, который стал для нас солнцем. Это не трусость. Это инстинкт самосохранения. Мы не идиоты, которые лезут в огонь. Мы — те, кто сидит в бункере и ждёт, пока огонь погаснет.

Хотя...

Буду честным с самим собой. Тот поход — он же не просто смертельная авантюра. Он — билет. Билет в другой мир. В мир, где ты перестаёшь быть просто «старшим инженером Бором». Где ты становишься живой легендой — если, конечно, вернёшься. Те, кому повезёт, получают всё. Не просто статус. Нет.

Они получают должности руководителей своих служб. Власть над людьми, которые вчера ещё были их коллегами, доступ к секретным архивам, дополнительный паёк. И главное — право на секс три раза в неделю. Без отказа, без согласия партнера.

Возможно, всё это стоит того, чтобы рискнуть своей жизнью, но лично я уже сделал выбор. Девять дней назад. В ту самую секунду, когда Шотт произнёс слово «добровольцы», я сидел неподвижно. Я смотрел на свои руки и чувствовал, как подрагивают пальцы. Никто не увидел, но я знал, я знал, что не пойду...

И мне стыдно? Нет. Не стыдно, мне страшно. И этот страх — единственное, что держит меня в живых.

Моя смена уже закончилась, и я спешил к Марте. Она работает линейным врачом в Службе Здоровья и Генетики. Я никогда не обращал на нее внимание, но один день изменил все — день, когда я впервые решился реализовать своё право на секс. Один раз в неделю с обязательным согласием партнера — так гласил Регламент для линейных инженеров. Я тогда был моложе, глупее и верил, что женщины — такие же люди, как и мы, и им тоже нужен контакт.

Я ошибся. Из всех женщин комплекса согласилась только Марта. В тот миг я понял: я не красавчик, не альфа-самец, от которого женщины сами вешаются на шею. Моё лицо — простое, заурядное, без особых черт. Моя фигура — средняя, моя харизма — ниже плинтуса. На меня никто не смотрел, никто не ждал, никто не мечтал. И это был не самый приятный момент осознания.

Но Марта сказала «да». Она улыбнулась той странной, немного смущённой улыбкой, которую я потом научился узнавать. И с тех пор мы встречаемся каждую неделю. Она не красавица. Простое лицо с тонким носом и невысоким лбом, который она вечно хмурит, когда думает. Волосы — тёмные, собранные в строгий хвост. Глаза — средние, голубые, как вода в фильтрах, всегда чуть усталые. Тело — худое, с узкими плечами, почти без форм. Если честно, я никогда не понимал, что она увидела во мне. Может быть, то же, что и я в ней — единственный доступный вариант. Или просто привычку.

Но как оказалось, для меня этого достаточно. Мы не любим друг друга. Мы не говорим о вечном. Мы просто встречаемся, чтобы не сойти с ума от одиночества. Я бы сказал, что мы — два человека, которые выбрали друг друга по остаточному принципу. И в какой-то степени это спасло нас обоих.

Я вошёл в каюту Марты, и привычный запах — смесь антисептика, тяжелого мазутного озона и сладковатого премикса — ударил в ноздри. Она сидела на стуле возле кровати, поджав под себя ноги, и читала какую-то книгу с пустой обложкой.

— Как прошла смена? — бросила Марта, даже не подняв глаз. Её голос звучал безразлично, без интереса, как вопрос, который задают по привычке, не ожидая ответа.

— Как обычно, — я присел на край кровати. — Ты же знаешь ответ. Каждый день похож на предыдущий.

Марта отложила книгу в сторону. Не спеша, словно давая себе время подумать.

— Пару дней назад мне пришло сообщение на ведомственный терминал. Готовится грандиозная миссия на Поверхности. Что-нибудь знаешь про это?

— Что-нибудь знаю, Хранители ищут добровольцев для поисков архива Ньютона. Что бы это ни значило.

Марта молчала. Её лицо оставалось непроницаемым — как у Хранителей в их каменных креслах, — холодным, без единой трещины. Ни тени эмоций. Ни вопроса в глазах. Просто тишина, которая говорила больше любых слов.

Честно говоря, я ожидал другой реакции. Возгласов удивления, шока, хотя бы лёгкого недоумения. Но нет. Марта была холодна, как зимний ветер, который гуляет по Поверхности, не оставляя следов. Будто она знала это задолго до меня.

— Хотела бы я посмотреть на этих героев, — сказала она безучастным голосом с едва заметной горечью. — Готовых рискнуть всем ради красивой легенды. Ты сам-то что думаешь? Рискнёшь записаться в добровольцы?

Я уже начал снимать с себя рабочую униформу. Расстегнул пластиковую молнию, стянул рукав. На секунду задержался, глядя на неё. На её тонкие пальцы, сжимающие книгу. В её глаза, которые смотрели на меня с вызовом и тревогой одновременно.

— Нет, — сказал я, наклоняясь к ней. — Но я рискну сделать кое-что другое. И ты знаешь, о чём я.

Марта взяла книгу с кровати и принялась машинально листать её.

— Сегодня не будет, — едва слышно обронила она, не поднимая глаз. — Извини.

Я замер. Что-то внутри меня сжалось, но не от обиды. От странного, почти юношеского удивления. Не то чтобы все мои мысли были заняты только сексом, но...

— Что-то случилось? — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.

Марта продолжала листать книгу. Я видел, как её пальцы чуть дрожат.

— Я не чувствую своего либидо, — выдавила она наконец. Я знал её слишком хорошо. За этим безразличием что-то скрывалось. — В прошлый раз тоже так было. Я думала, пройдёт. Не хотела тебя обидеть.

Она приподняла голову, и я увидел её глаза — усталые, голубые, как вода в фильтрах, в которых больше не осталось жизни.

— Сегодня я решила сказать. — Она пожала плечами. — Такое бывает у женщин. Это не про тебя. Это про меня.

Мы смотрели друг на друга несколько секунд. В каюте было тихо — только гул вентиляции где-то за стеной и слабое мерцание лампы.

— Хорошо, — сказал я просто. — Я понимаю.

Марта улыбнулась. На этот раз — благодарно. Я снял униформу полностью, повесил её на спинку стула и лёг на кровать, глядя в потолок. Марта положила книгу на колени и снова уткнулась в неё.

— Спасибо, — сказала она через минуту.

— За что? — спросил я, не поворачивая головы.

— Что не спрашиваешь «почему».

Я промолчал. Потому что я знал ответ. Иногда «почему» — это единственное, что разрушает всё, а иногда — единственное, что спасает. Мы лежали молча. Слушали, как гудит вентиляция. Как где-то далеко перестукиваются компрессоры. Как течёт время — ровно, неумолимо, как вода в Белковой Петле. И я думал о том, что даже здесь, в безопасности, среди родных стен и привычных вещей, всё может измениться.

— Ты будешь скучать, когда меня не станет? — спросил я вдруг, сам не зная зачем.

Марта не ответила. Я повернул голову и увидел, что она смотрит на меня — серьёзно, пристально, как в первый раз.

— А ты уходишь куда-то?

— Нет, просто мысли.

Она снова уткнулась в книгу.

— Тогда не задавай глупых вопросов.

Я улыбнулся. И понял, что это самое близкое, что у меня есть. Не любовь. Просто человек, который знает, когда нужно молчать.

— Раз уж сегодня день странных вопросов, теперь моя очередь, — строго произнесла Марта.

Она отложила книгу, но продолжала смотреть на обложку, водила пальцем по краю страницы, словно искала там ответ.

— Ты когда-нибудь думал о семье? — Она вскинула глаза, в них было что-то новое — не усталость, не печаль, а странный интерес. — Как в древних книгах: мать, отец, ребёнок... Вместе живут, делят всё, заботятся друг о друге. И родители сами учат своих детей ходить и говорить, а не какие-то менторы в Центральных Яслях. Это же не просто Регламент, правда? — Она замолчала на секунду. — Может, мы для чего-то большего... Не просто выживать, а растить, любить, оставить след?

Я замер. Слова Марты повисли в воздухе, как тонкие нити паутины, и я не знал, куда себя деть, чтобы их не порвать. Признаться, я никогда не читал любовных романов древних довоенных писателей. Моё чтение — это отчёты, инструкции, технические карты и, пожалуй, исторические довоенные книги. Видимо, женщины без этих книг не могут. Для них это нормально, как для нас — разбирать и собирать схемы. И всё же... Я чувствовал себя неловко. Будто стоял на экзамене, к которому не готовился.

— Ты права, вопрос и правда странный, — согласился я. — Я не знаю, что такое семья, и никогда не думал об этом. В самом деле. Ни разу.

Я посмотрел Марту. Она не моргала.

— Не уверен, что сейчас этому миру нужна семья, — Я пожал плечами. — Ему нужно то, что не сломается. А семья... она слишком зыбкая. Слишком человеческая для нашего мира.

Марта усмехнулась.

— А что нужно нашему миру? — спросила она. — Регламент? Выживание в этой мёртвой тайге? Ради чего мы все это терпим? Я больше не понимаю. В этом больше нет никакого смысла. Нам даже не о чем говорить друг с другом. Посмотри сам, мы горстка, врачей, инженеров, техников только и делаем, что пересказываем друг другу свои служебные протоколы. То, как устроены компрессоры, реактор, даже унитазы! Даже во время секса. Все как один, одни и те же слова... И эти мифы, сказки... Я устала от этого... Мы просто пустышки...

Эти слова пробирали до костей. Я чувствовал, как они проходят сквозь кожу, как холодная изотопная взвесь. Надеюсь, это не дойдёт до Службы Внешнего и Внутреннего Замыкания. Вера в Регламент — это не просто убеждение. Это то, что закладывают в нас с младых ногтей, ещё до того, как мы научимся говорить. Кто-то верит больше, кто-то меньше, но верят все без исключений. Потому что, если не верить — Курганы рухнут. Они превратятся в затопленные руины, как подземелья Эпицентра, где радиоактивная вода поднимается по шахтам и пожирает бетон.

Конечно, Марта в чём-то права. Ничто человеческое нам не чуждо — и в этом, наверное, самая страшная правда. Мы не машины, иначе давно бы перестали задавать вопросы. Но когда на кону стоит твоё выживание — и не только твоё, — когда каждый день решаешь, будут ли работать фильтры завтра, когда смотришь в глаза людям, которых знаешь десять лет, и видишь в них ту же самую тревогу... Тогда сухие протоколы Регламента обретают новый смысл. Они становятся не правилами, а якорем. Единственным, что удерживает нас от падения во тьму.

— Мы просто выживаем. Это всё, что мы умеем. Так завещали Отцы-Основатели. Пройдут века, прежде чем комплексы объединятся. Может, тогда, когда нас уже не будет, у кого-то появится время подумать о семье.

Я на мгновение задержал дыхание и посмотрел на Марту. Она слушала, склонив голову. Её глаза были полузакрыты, и я не мог понять — слушает она меня или уже всё решила для себя.

— Мне это так же рассказывали менторы, как и тебе, — в её голосе звякнула та самая броня, которая делала её сильной в операционной и такой уязвимой здесь, в этой каюте. — Можешь не продолжать... Знаешь, иногда я думаю: мы просто боимся. Боимся признать, что хотим большего. Вдруг потеряем то, что есть? А чего терять-то? Пыль, бетон и страх.

Она повернулась ко мне. Я заметил, как в её глазах блеснуло что-то мокрое. Она не плакала. Она просто стояла и смотрела, как я сижу на краю её кровати, сжимая в руках свой рабочий комбинезон.

— Я не знаю, что такое семья. Но здесь, с тобой... Здесь я чувствую себя почти как дома. Хотя дома у нас и нет.

Я молчал. Потому что нечего было сказать. Из вакуумного шлюза в стене послышался протяжный свист – Белковая Петля выдала очередную порцию пайка. Еда, которая не пахнет ничем. Вкус, который забывается через минуту после того, как проглотишь. Но Марта даже не повернула головы.

— Пару дней назад ты встретился с мальчиком Галилео.

— Откуда ты...

— Просто знаю! — Она резко оборвала меня. — Это неважно, откуда. Важно то, что я скажу дальше. Послушай меня пожалуйста и не перебивай.

Я не собирался её перебивать. Она хотела сказать что-то важное — и я должен был дать ей эту возможность.

— Этот парень — твой сын. Когда я получила разрешение на ЭКО, мне дали выбор из банка спермы. — Марта цедила слова, словно вынимая каждое из глубины себя. — И я выбрала тебя, Бор. Этот мальчик — твой сын.

Я не знаю, какой реакции она ожидала. Может быть, шока. Может быть, слёз. Может быть, объятий или вопросов. Но она получила только тишину. Потому что я не знал, что сказать. То, что в Курганах могут быть мои дети, — для меня не то, чтобы новость. Каждый житель комплекса знает: репродукция, как и всё в Курганах, подчинена Регламенту. Она лишена даже минимальной доли романтики — той глупой, человеческой романтики, о которой пишут в древних книгах. Мы не видим своих биологических детей.

Я посмотрел на нее. Она стояла у стола, сжимая в руках книгу, и смотрела на меня с вызовом и отчаянием одновременно.

— Это обычный ребёнок, — сказал я. — Такой же, как и все. Скоро он станет таким же спецом, как и мы с тобой. И точно так же будет служить Регламенту.

Марта усмехнулась.

— Мужчины... — Она покачала головой. — Как у вас всё просто. Мы живём в каменных коробках, едим сублиматы, размножаемся по расписанию. А вы говорите — «обычный ребёнок».

Она шагнула ко мне, её руки дрожали.

— Мужчины начали ядерную войну. Мужчины построили Курганы. Мужчины написали Регламент. А теперь вы хотите, чтобы мы, женщины, рожали детей и отдавали их в Ясли, как детали на склад? И при этом называли это «нормой»? Ты вообще знаешь, что такое «роды» тут?

Она приподняла голову и закатила глаза.

— Тут никто не рождается, мы не рожаем наших детей. Нас просто вскрывают Бор! Такие как я, врачи. В стерильном блоке мы режем женщин и вынимаем ребёнка. Мать не видит его

ни секунды... и мы сразу уносим его в кувез — в тёплый раствор, под фиолетовые цифры. А знаешь, что делаем с пуповиной? Мы ее подключаем к этой проклятой Петле! Не к матери, а к Белковой Петле! И он там созревает, в машине, в жидкости...

С ней было что-то не так. Я не узнавал её. Эта женщина — не та Марта, которую я знал все эти годы.

— Нам даже не дают кормить наших детей грудью. Нас просто гасят — вводят препараты, чтобы лактация погасла за часы. Мы — женщины — просто механизмы для воспроизводства.

— Тихо, тихо, тигрица, — попытался успокоить её я, поднимаясь с кровати и делая шаг к ней. — Я не собираюсь читать тебе Регламент. Твой ребёнок здесь, с тобой. Он никуда не денется.

— Ты ни разу не был в инкубаторе. Конечно... кто тебя туда пустит? Туда даже не каждый врач может войти. Ты представляешь, что там? — в её глазах разгорался бешеный огонь ярости. — Там сплошные ряды капсул — я даже не знаю, сколько их... Никогда не считала. Кувезы. Инкубаторы. Они соединены с Белковой Петлей, как артерии. Внутри — стерильный раствор, что-то вроде хлореллы с аминокислотами. Туда помещают наших детей — младенцев, вырванных из наших тел.

Марта глубоко вздохнула.

— Там ничего нет, Бор. Только эти капсулы. Ни игрушек, ни рисунков, ни цвета. Только кувезы — как маленькие гробы — и над ними фиолетовые цифры на экранах. Баллистический индекс ребёнка. Наши малыши лежат там, а мы просто идём дальше — на службу.

Я коснулся её плеча, она вздрогнула. Но не отстранилась.

— Давай оставим это между нами. — Мой голос упал до едва различимого выдоха. — Ты знаешь, чем это может закончиться.

Я выдержал её взгляд. Просто стоял и смотрел в ответ, пока внутри меня, как стая встревоженных зверей, метались факты, обрывки знаний, подозрения.

— Я поняла, — отчеканила она монотонно, без единой интонации. — Я всё поняла. Когда из меня вырезали моего мальчика... Нашего сына, Бор. Я... Я даже ничего не почувствовала. Прошло пара дней, и я уже была на службе. Мне было всё равно. Для меня существовали только Регламент и работа. Но теперь... Теперь я чувствую. Я это чувствую, Бор.

Я знал, что всем жителям Курганов в пищу добавляют гормональные супрессанты. Это искусственный химический тормоз для мозга. Они действуют как заглушки — гормоны не могут выделяться в кровь в нужный момент. Любовь, привязанность к своему ребенку — всё это подавляется.

Теперь я видел, что химия бункера начинала проигрывать. Первобытная сила человеческого тела — древняя, дикая, неукротимая — прорывается сквозь супрессанты, как трава сквозь асфальт. Марта чувствует свою связь с Галилео. Я знаю, что это значит. И я знаю, что это значит для всех нас — очередной сбой Оракула, ещё один шаг на пути в бездну хаоса.

Внезапно пространство каюты разорвал звонкий, режущий вой сирены — он ворвался в тишину, как нож в ткань, и я вздрогнул так, будто меня ударило током. Сердце на миг замерло, а затем сорвалось в бешеный ритм. Марта не шелохнулась. Она плавно опустилась на жёсткий стул, положила книгу на столик возле кровати. На её лице не промелькнуло ни одной эмоции. Ни страха. Ни удивления. Ни любопытства. Только спокойствие — такое глубокое, что оно казалось почти пугающим. Поразительная выдержка. Видимо, стальная нервная система медика легко справлялась с любыми вызовами — с сиренами, с угрозами, с неизвестностью. Но я знал, где у неё слабое место. Там, где просыпался материнский инстинкт. Там, где Оракул в очередной раз давал сбой.

Громкоговоритель проскрежетал, зашипел и выдал:

— Нарушение протокола безопасности. Просьба всем оставаться на местах и закрыть двери.

Сообщение повторилось. И ещё раз. Голос был механическим, безжизненным — как у Оракула в его лучшие дни.

Откровенно говоря, я человек робкого десятка. Любая опасность, даже самая призрачная, может вогнать меня в панику. Срабатывает первобытный, животный инстинкт — тот самый, что заставлял моих предков прятаться в пещерах при первых раскатах грома. И сегодня этот инстинкт говорил мне: беги, прячься, спасайся. Но бежать было некуда.

Я стоял у стола, чувствуя, как дрожат мои пальцы. В этот момент я особенно остро осознал, насколько мы разные. Я, трясущийся, покрытый холодным потом, — и она, сидящая на стуле, как каменное изваяние. Хладнокровная и непоколебимая.

— Помню, такое было уже пару лет назад, — выдавил я дрожащим голосом. Я слышал это и ненавидел себя за это, но ничего не мог поделать. — Тогда нам никто ничего не объяснил. Мы просидели в каютах три часа, слушая вой сирены, и никто не пришёл. Ни разъяснений. Только тишина.

Марта посмотрела на меня. Её взгляд был мягким, почти участливым. Она улыбнулась.

— Такие тревоги за всё время существования Курганов случались и не раз, — её тон был сухим и спокойным, будто она объясняла ребёнку, что гром — это просто звук. — Сбои бывают даже у нас. И такая реакция — тоже часть Регламента.

Она чуть подалась вперёд.

— Расслабься, Бор. Офицеры замыкания уже делают своё дело. Система работает.

Я хотел поверить ей. Я хотел вдохнуть, выдохнуть, успокоиться, как она. Но внутри меня, где-то глубоко, продолжал дрожать тот самый жгучий страх — тот, который не лечится супрессантами и не успокаивается словами.

— Надеюсь...

Сирена стихла так же внезапно, как и началась.

— Отмена тревоги. Всему персоналу вернуться к исполнению Регламента.

Голос из динамика прозвучал безлично, официально, без тени извинения за те часы, что мы провели в напряжённом ожидании. Я не знаю, сколько мы просидели с Мартой в тишине — может, час, может, два, может, и больше. Время в этих стенах текло иначе: оно то сжималось до нескольких минут, то растягивалось в бесконечность. Мне эти часы показались вечностью.

Покой разорвал резкий звук личного ведомственного терминала. Мы все носим их на левой руке — круглосуточно, без перерывов, без выходных. Привычный писк, который обычно означал очередную рабочую задачу, сейчас прозвучал как удар молнии. Я машинально дёрнул рукой, взглянул на экран — ничего. Это был не мой терминал.

Она встала, и я увидел, как на её лице промелькнула тень. Мгновенная, почти неуловимая, но я её заметил.

— Что-то случилось. Мне надо идти.

Марта отбросила книгу на кровать — небрежно, вразрез со своей обычной аккуратностью — и направилась в сторону двери. Её шаги были частыми, почти бегущими, и это было так не похоже на неё, что я невольно поднялся следом.

— Я с тобой, — сказал я с несвойственной для себя решительностью.

Страх, ещё несколько минут назад сковывавший меня, немного отступил. Всё-таки осознание того, что офицеры замыкания не дадут мне сгинуть, действовало успокаивающе. Как тёплый плед в холодной каюте. Или как ложь, в которую хочется верить.

Марта остановилась на пороге и обернулась. В её взгляде мелькнуло что-то — не гнев, нет, скорее недоумение, смешанное с лёгкой насмешкой.

— Мгновение назад ты пытался объяснить мне, как важен Регламент. — Она чуть приподняла подбородок, глядя на меня с прищуром. — А сейчас рвёшься его нарушать. Интересный у тебя подход к дисциплине, Бор.

Я пожал плечами, стараясь выглядеть непринуждённо.

— Брось. Куда тебя вызвали?

— На место службы, — коротко ответила она и шагнула за порог.

Я последовал за ней, не раздумывая. И только оказавшись в коридоре, я задал себе вопрос, на который не мог найти ответа: зачем я иду? У нас не приветствуется, когда спецы из других служб вторгаются на чужую территорию без веских на то причин. Не приветствуется, но и не запрещается. Серая зона, в которой всегда можно маневрировать. Мне не настолько важно, что обо мне подумают врачи Службы Здоровья и Генетики. Их мнение ничего не изменит в моей жизни. На самом деле я шёл туда не ради Марты — я просто хотел удовлетворить своё любопытство.

Мы шли по пустому коридору к лифту. Марта шагала впереди, её плечи были напряжены, но спина — прямая, как у солдата на построении. Моё сердце билось быстрее, чем хотелось бы. Но я не повернул назад. Любопытство оказалось сильнее.

Лифт остановился, и мы вышли в коридор второго яруса. В его конце — развилка, а направо — вход в центральный зал Службы Здоровья и Генетики. Здесь всё было иным. Другой свет, другой воздух — стерильный, сухой, обжигающий ноздри. Стены зала наглухо облицованы матовыми панелями из белого антисептического ударопрочного пластика. Швы между ними залиты серым фторопластовым герметиком — аккуратно, ровно, будто кто-то провёл линии по линейке. Ни пылинки, ни пятнышка.

Вдоль стен выстроились довоенные автоматические GaN-секвенаторы ДНК. Они гудели плотно, утробно, как больные звери, их тёмные экраны пульсировали зелёными графиками. Они подключены напрямую к Оракулу. Раз в квартал каждый из нас, тысячи человек, должен сдать сюда экспресс-биопсию костного мозга и лимфы. Мы не спрашиваем зачем. Мы просто приходим, протягиваем руку и ждём, пока игла войдёт под кожу.

Справа, в дальнем конце стены, ещё один вход — хирургический процедурный блок. Там проводят экстренные операции. Я не знаю, что там, за этой дверью. Как и за многими другими дверями Службы Здоровья и Генетики. Может быть, там спасают жизни. А может быть, там иногда их заканчивают. Я не хочу знать. Но я стою здесь, на пороге, и смотрю, как Марта шагает вглубь зала. Её фигура кажется призрачной в этом фиолетовом свете.

В центр зала потихоньку стягивались врачи службы — их тоже выдернули из законного отдыха, на их лицах читалась смесь усталости и тревоги. В полуколыце, чуть поодаль, стояла руководитель Службы Здоровья и Генетики Кюри.

Женщина лет сорока—сорока пяти, настоящая статная красавица, от которой невозможно было отвести взгляд. Ровные скулы, большие серые глаза, светлые волосы, собранные в строгий пучок, ни единой морщины на лице — будто время не осмеливалось прикоснуться к ней. Несмотря на возраст, она была хороша. Хороша той холодной, недоступной красотой, которая сводит с ума и одновременно отталкивает. Как бы я хотел быть её секс-партнёром. Хотя бы раз. Хотя бы на одну ночь, которая согрела бы меня на годы вперёд. Но увы, даже будучи старшим инженером, я не мог на это рассчитывать. Моё право на один раз в неделю, которое никто не смел оспаривать, не действовало на руководителей служб. Они были вне досягаемости. Неприкасаемые.

Кюри заметила меня и улыбнулась. Улыбка её была мягкой, почти бархатной, в ней чувствовалось искреннее расположение или, по крайней мере, хорошо разыгранная вежливость. Она улыбалась много и часто, и от этого к ней хотелось идти, как к огню.

— Серв Бор, если ваша служба на сегодня окончена, вам лучше отправиться в свою каюту. — Её голос окрасился едва заметными нотками заботы.

Я замешкался, чувствуя, как щёки начинают гореть. Засмутился, как мальчишка. Представляю, каким идиотом я выглядел в этот момент — красное лицо, растерянный взгляд, руки, которые не знали, куда себя деть.

— Позвольте, серв Кюри, я останусь, — выдавил я. — Была тревога, и любая помощь, даже от непрофильного специалиста, может оказаться полезной.

Я знал эту фразу наизусть, как и все жители Монолитных Курганов. Дежурная отговорка, которую мы используем, когда хотим остаться там, где нас не ждут. Или, когда не хотим возвращаться в пустоту своей каюты. Кюри снова улыбнулась — снисходительно, как взрослый, позволяющий ребёнку поиграть во взрослую игру.

— Что ж, только сильно не мешайте. Нам предстоит нелёгкая смена.

Она обвела глазами собравшихся врачей — в этом взгляде, дружелюбном, но цепком, читалась стальная воля, которая позволяла ей держать в руках всю службу.

— Друзья-сервы, — начала она, — эта тревога была не ложной. Все руководители служб уже в курсе: в некоторых местах комплекса отключился активный ультразвуковой барьер в дренажных коллекторах.

Повисло безмолвие, не просто отсутствие звука, а звенящая, давящая пустота, в которой люди замирают, осмысляя услышанное. Медики начали переглядываться — коротко, беспокойно.

— Понимаю вашу тревогу, — продолжила Кюри. — Сейчас система функционирует штатно. Офицеры замыкания уже обследуют все ярусы. На это уйдёт какое-то время. Но уже сейчас точно известно: дикие крысы-пасюки проникли в контур Курганов.

Я смотрел на Кюри, на врачей, на Марту, стоящую в углу, и чувствовал, как холод ползёт по позвоночнику.

— Не волнуйтесь, дорогие сервы. — Голос Кюри звучал спокойно, почти убаюкивающе, но я заметил, как она сжала пальцы в замок — жест, который выдавал напряжение. — Опасность миновала. Офицеры замыкания сделают своё дело. Вы знаете не хуже меня — они профессионалы, и у нас нет повода им не доверять. Я уверена, что уже в ближайшее время всех крыс уничтожат...

Она на миг замолчала.

— Но, если есть жертвы, наша задача — выполнить эвакуацию. А дальше... — Она сделала короткий выдох. — Дальше — делать свою работу.

Кюри снова улыбнулась. Такая реакция, казалось, была ей свойственна — она всегда находила повод для оптимизма. Уверенность в том, что всё обойдётся, была её броней, её щитом. И неудивительно. История Курганов знает несколько случаев, когда системы безопасности давали сбой и каждый раз обходилось без жертв. Мы привыкли верить в это. Как верим в то, что завтрашний день будет похож на вчерашний. Как верим в Регламент.

— Я приношу вам свои извинения. Вас пришлось выдернуть на службу с вашего часа тишины. Но Регламент требует безотлагательной реакции. Поэтому прошу вас располагаться в комнате консилиума. Я дам знать, как только получу сообщение от офицеров замыкания.

Мы молча двинулись в указанном направлении. Комната консилиума встретила нас мёртвым фиолетовым светом. Шестиугольный белый пенал, залитый этим неоном, напоминал мне камеру. GaN-панели на стенах пульсировали графиками — тысячи, миллионы линий, которые складывались в карты наших хромосом. Они работали непрерывно, даже когда мы спали.

Мы расселись за прямоугольный стол. Привычные стулья были жёсткими, холодными, неудобными. Я сел на своё место, положил руки на стол и уставился в одну точку.

— Может, кто-нибудь просветит меня?

Я попытался разрядить обстановку, но голос прозвучал хрипло — долгое молчание дало о себе знать. Пришлось прокашляться, прочищая горло от тишины, что накопилась за часы ожидания.

— Как происходит утилизация трупов крыс? Мы же не возвращаем их в Белковую Петлю?

Кира посмотрела на меня. В её глазах не было удивления — только холодная, профессиональная сосредоточенность врача, который привык смотреть смерти в лицо.

— Нет, конечно. Можешь считать крысу биологическим оружием для Курганов. Пропускать этих тварей через резоматоры и возвращать в Петлю — самоубийство. Ты же помнишь рассказы менторов про пасюков?

— Помню только то, что они переносят какую-то опасную заразу...

Она неуловимо изменила позу — я заметил, как пальцы сжались в кулак.

— Эти твари — настоящий кошмар Курганов. Много людей от них пострадало. Я один раз видела труп крысы... — Её передёрнуло. — Слепая, без шерсти, вся в складках, цвет — как грязный асфальт. И липкая, тёмная, будто в смоле. Это у них такая защита, чтобы пыль не оседала. Их тысячи — живут в темноте, шум чувят вибриссами. А зубы — они режут всё: стены, кабели, бетон, пластик... Всё подряд.

Она не смогла совладать с собой — это было видно. Отвращение проступило на её лице так явно, что я невольно задержал взгляд. С Кирой такое случалось нечасто.

— Но это ерунда по сравнению с главным. Их печень и кости связывают тяжелые металлы в безвредные конгломераты. Тела этих тварей — ходячие токсичные отходы. А то, что ты вспомнил — да, есть такое. В Регламенте это называют подземным тифом, но это не тиф. Это оппортунист из коллекторов — довоенный человек, может, и перенёс бы. Мы — нет. У нас стерильная кровь, необученный иммунитет и ни одного работающего антибиотика против этой заразы. А коллекторы годами отбирали этих бактерий. Если патоген попадет в нас, то не встретит сопротивления. Через несколько суток — заражение крови, шок, и лёгкие отказывают один за другим. Мы называем это девяносто шесть часов. Столько у нас есть.

— Так почему нельзя бросить этот труп в Петлю? — спросил я.

— Потому что они жрут все, что видят: рыжий «железный» мох, личинок, пьют из кадмиевых хлябей. Мясо, кости, шкура — всё пропитано тяжёлыми металлами и метилртутью. Брось такой труп в питательный контур — и зараза пойдёт по Белковой Петле до пищевых сифонов. А у нас люди стерильные, нужных антибиотиков нет, своего иммунитета нет. Дальше ты сам знаешь. Не буду читать лекцию.

— И всё-таки ты не ответила. — Я придал голосу твёрдости. — Я не спрашивал, чем это грозит. Я спросил, что вы с ней сделаете.

На лице Киры мелькнуло что-то вроде улыбки — холодной, почти хищной. Она никогда не смягчала правду. Я уважал её за это и одновременно боялся.

— Есть протокол. Термическое Выжигание. Считай, объявлен биохимический карантин. — Она заговорила суше, по пунктам. — Офицеры Замыкания в БК-1 берут труп вольфрамовыми зажимами, руками не касаются, прячут в титановый пенал. Снаружи заливают окислительной пеной из ранца.

— Растворяет?

— Нет, на это ушли бы часы. Пена выжигает только оболочку — паразитов, кровь, споры, дегтярный секрет на шкуре. Через пару минут оседает сухой коркой, её тянет вытяжка. Это не уничтожение. Это упаковка — донести тварь до печи, ничего не обронив по дороге.

Она перегнулась через стол, и лампы сделали её лицо резче.

— Дальше труп идёт не к личинкам на пятый ярус, а в плазменную печь внешнего контура. Там не тепло — электрическая дуга, тысячи градусов. Плоть и кости распадаются до газа и стеклянного остатка. Ни клетки, ни белка. Ничего от того, чем эта тварь была.

— А металлы? — Я уже понял, к чему она ведёт. — Ртуть, кадмий. Они не сгорят.

— Не сгорят. При таком жаре они кипят и уходят паром. Печь гонит этот пар в вытяжку — и мы бы постепенно травили сами себя. Поэтому есть вторая ступень: газ прогоняют через холодные ловушки. Металл оседает на них коркой, корку соскабливают и прячут отдельно. В Петлю не идёт ничего. Мы не самоубийцы.

Она откинулась назад.

— Остаётся стерильный шлак. Его выбрасывают на Поверхность через шлюз. Туда, где ему и место.

— Как мусор, — сказал я.

— Именно так, — согласилась она.

В памяти мелькнула схема Курганов. Я вспомнил этот отсек — промежуточный технический полуярус «Ноль» между первым ярусом и Поверхностью. Место, где заканчивается жизнь и начинается мертвая зона.

Я огляделся. Врачи сидели неподвижно — кто-то с закрытыми глазами, кто-то машинально листал книгу, кто-то просто смотрел в одну точку, не видя никого вокруг.

— Это обнадеживает, — сказал я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. — Я только одного не пойму: зачем тогда вас вернули на службу? И притом в полном составе?

Мой вопрос напряг Киру. Её плечи чуть поднялись, и она на мгновение отвела взгляд.

— Могут быть укушенные, — признала она. — И сразу отвечу на твой вопрос — да, такие случаи бывали. Но на это есть свой протокол. Мы знаем, что делать.

Она выдержала паузу, глядя мне прямо в глаза.

— Лучше не думай об этом, Бор. Просто жди, когда всё закончится. А ещё лучше — топай к себе в каюту. Третий ярус не оцеплен. Ты можешь спокойно вернуться назад. Тут и без тебя разберутся.

Скорее всего, она права. Моё любопытство, ещё недавно такое острое, почти болезненное, схлынуло, оставив после себя лишь пустоту. Наверное, где-то в глубине души я надеялся увидеть нечто необычное — то, что вырвет меня из привычного круга, заставит сердце биться чаще. Но вместо чуда я получил очередное подтверждение того, что Регламент — это не просто свод правил, а сама ткань реальности, в которую вплетены все наши страхи и надежды.

Монотонность ежедневного несения службы пробуждает в человеке странную жажду — жажду нового, острого, того, что хотя бы на мгновение заставит почувствовать себя живым. Мы, обитатели Курганов, похожи на слепцов, которые бродят в темноте, натываясь на одни и те же стены. И когда в этой тьме вдруг возникает отсвет неизведанного, мы тянемся к нему, забывая об осторожности.

Сидя здесь, в стерильной белизне комнаты консилиума, я испытывал противоречивые чувства. С одной стороны — лёгкое разочарование, почти обида: я пришёл за тайной, а получил протокол. С другой — странное, почти животное успокоение. Регламент работает всегда. Это знание, как крепкая стена, отгораживает нас от хаоса, который ждёт снаружи.

Кира вырвала меня из размышлений — её голос прозвучал неожиданно резко, нарушив мою внутреннее спокойствие.

— Странно, — произнесла она с едва заметной издевкой в голосе, — что ты не задаёшь главного вопроса. Как так вышло?

В её словах звучал вызов, или приглашение к игре, в которой я не хотел участвовать.

— Это уже ни для кого не секрет, — ответил я с напускным безразличием, — Оракул даёт сбой. Но, как видишь, даже к такому Регламент вполне готов.

Кира усмехнулась. Коротко, беззлобно, но в этой усмешке было что-то, отчего мне стало неуютно.

— Может, и так. — Она чуть наклонила голову. — Только я вижу эту ситуацию немного иначе.

Я окинул взглядом комнату. Врачи сидели неподвижно — казалось, они не слышали нас. Или делали вид, что не слышат. Мне вдруг стало страшно: а что, если Кира сейчас скажет то, о чём все мы потом пожалеем? То, что будет преследовать нас, как эта сирена, как этот фиолетовый свет, как эта безмолвная комната?

Иногда я думал, что Кира не просто врач. Она — запасная совесть Курганов. Совесть, которая напоминает нам, что мы ещё люди, даже когда Регламент пытается убедить нас в обратном. И возможно, именно поэтому ей позволяют говорить то, что другим запрещено. Может быть, это тоже часть протокола?

— Не понимаю, о чём ты.

— Я сама не знаю, как это выразить словами, — ответила Кира с тенью сомнения в голосе. — Но я вижу что-то вроде системы. Сбои Оракула. Миссия на Поверхность. Они связаны. Одно плавно вытекает из другого... Или, может, всё наоборот?

Она замолчала на мгновение, глядя на меня с таким пристальным вниманием, что я невольно отвёл взгляд.

— Что, если первопричина — это миссия? — спросила она.

Заговоры... В Курганах, где всё подчинено протоколам, где даже дыхание регулируется Регламентом, подобные теории казались абсурдными. И всё же...

— Теории заговора сейчас не уместны, — отрезал я, чувствуя, как внутри нарастает раздражение.

— А это и не теория заговора. — Кира мотнула головой. — Скорее, деградация Оракула была неизбежна. Но является ли это поводом искать истину в легендах Курганов? Не знаю...

Она собиралась с мыслями.

— Может, за этой миссией скрывается что-то ещё. Возможно, мы знаем далеко не всё.

Я почувствовал, как по коже пробежали мурашки. Страх перед Службой Внешнего и Внутреннего Замыкания был сильнее любого любопытства. Я знал, что лучше бы промолчать. Что лучше бы встать и уйти. Но я не мог.

— Если ты считаешь, что Хранители ведут свою игру, может, ты и права. Они тоже служат Регламенту, и кто знает, что он предписывает им делать. Но я уверен в одном: выживание стоит на вершине Регламента. Не мы, не Хранители — никто не может пойти против этой цели. Это и есть суть Курганов, если хочешь.

— Может быть, — сказала Кира тихо. — А может быть, суть Курганов в том, чтобы мы, наконец, перестали бояться задавать вопросы.

Она отвернулась и уставилась в одну точку на стене, давая понять, что разговор окончен.

Тем временем прошёл уже не один час. Молчание в комнате консилиума стало привычным, почти родным — я перестал замечать его, как перестают замечать гул вентиляции или мерцание ламп. Видимо, всё и правда оказалось не так страшно, как могло показаться изначально. Я выдохнул. Протяжно, глубоко, впервые за последние часы позволяя себе расслабиться. Всё-таки когда неистовое любопытство умирает, на его месте остаётся странное, почти физическое облегчение. То самое чувство, когда понимаешь: Регламент в очередной раз отработал именно так, как ты и ожидал. Без сбоев. Без сюрпризов. Без жертв. Я почти поверил в это.

Дверь распахнулась, и в комнату вошла Кюри. На ее лице застыла тревога, которую она даже не пыталась скрыть.

— Друзья-сервы, есть пострадавший. В течение пяти минут ожидаем транспортировку. Всем приготовиться к протоколу Балансового Вывода. Серв Резерфорд, вы исполнитель.

Она перевела взгляд на меня, и я почувствовал, как этот взгляд — короткий, оценивающий — прошёлся по мне, как скальпель.

— Я уже поняла, что вы останетесь здесь. — Её голос чуть смягчился, но в нём всё ещё звучала сталь. — Но тут уже начинает работать Регламент. Всю работу делают врачи. Стойте в стороне и не мешайте, прошу вас.

Я молча кивнул. Как бы это ни звучало цинично, но моё любопытство было вознаграждено. Я пришёл сюда за чем-то необычным — и получил это. Грустно осознавать, но, видимо, так устроены люди. Мы жаждем увидеть что-то, что вырвет нас из привычного круга. Мы

тянемся к страшному, как мотыльки к огню. Не знаю, что по этому поводу говорит официальная наука, но, наверное, это наша природа. Тёмная, неистребимая.

— Считай, что население Курганов уменьшилось на одного человека, — произнесла Марта с привычной для неё деловой интонацией. — Такой «пострадавший» теперь для нас внешняя угроза. И этот протокол, по сути, есть эвтаназия.

Я почувствовал, как пересохло в горле. Страх — мой привычный спутник, он всегда рядом, всегда в тени, всегда готов напомнить о себе. Но в этот раз всё было куда серьезнее. В голове промелькнула мысль: должны найтись добровольцы. Кто-то должен рискнуть. Кто-то должен пойти на Поверхность. Кто-то должен найти «архив» Ньютона, иначе таких «пострадавших» будет больше.

— Вижу по твоему лицу, что вера в Регламент даёт сбой, — Марта иронично улыбнулась. — Особенно после слов Киры. Не бери в голову. Мы это проходили и не раз. Мы научились за годы жизни в этом подвале справляться с любыми трудностями. Даже с такими. Этого несчастного ждёт инсинератор вместе с крысами.

Врачи начали медленно подниматься. Я машинально встал и последовал за ними.

В хирургическом процедурном блоке уже кипела работа — напряжённая, сосредоточенная, почти бесшумная. Я не видел, что именно там происходило, только слышал приглушённые голоса, короткие команды, звон металла о металл.

Весь персонал облачился в медицинские костюмы СК-3 «Изолят». Передо мной стояла Марта. Я старался держаться в стороне, но она всё время была рядом — хотя я её об этом не просил. Я впервые видел её в этом костюме.

Он был белоснежным, абсолютно гладким, будто отлитым из одного куска. На его глянцево-поверхности не могли осесть бактерии, споры грибов или капли заражённой крови — они просто скатывались, стекали, исчезали. Вместо жёстких металлических лат скафандр был сделан из многослойного гибкого полимера на основе высокопрочного белого тефлона. Сквозь прозрачный ситалл шлема я видел лицо Марты, её глаза, её сосредоточенное выражение.

И перчатки. Самая важная деталь. Тончайший неопрен с напылением жидкого полимера. Они сохраняли идеальную чувствительность пальцев, позволяя врачам делать то, что требовало ювелирной точности. Но при этом их невозможно было проколоть или порвать медицинской иглой.

— Это ведь не опасно для меня? — спросил я, с трудом выдавливая слова.

— Нет, — ответила Марта, не оборачиваясь. — Тебе не обязательно надевать эти доспехи. В процедурный блок тебя всё равно никто не пустит. Работа с пострадавшим будет вестись там.

— Интересно, кто же это...

— Сейчас узнаем. Главное, что это не мы.

Я стоял у стены, наблюдая, как врачи готовятся к тому, что должно было произойти. Белые фигуры двигались с точностью часового механизма. Свет сапфировых ламп падал на их шлемы, отражался бликами, делал их похожими на фантомы. Я закрыл глаза и постарался не думать о том, что будет, когда привезут пострадавшего.

Дверь центрального зала открылась с шипением — воздух на секунду изменил давление, и я почувствовал это кожей. Вошли двое. Офицеры замыкания. Я не видел их лиц — только оранжевые визоры скафандров БК-1 и крошечные зелёные искры тритиевых меток, тлеющие над виском каждого шлема. Их движения были безупречно синхронными — такими бывают только у тех, кто привык ходить по лезвию. Между ними — прозрачный кокон-носилки.

Я видел, что там кто-то есть. Но не мог рассмотреть кто. Я сделал шаг вперёд. Осторожно, почти инстинктивно — словно тело двигалось быстрее разума. Я знал, что мне ничего не угро-

жает, кокон герметичен, он выдерживает давление, радиацию, всё, что может убить. Но любопытство толкало меня ближе.

Внутри лежал мальчик. Лет десяти, не больше. Серый комбинезон был разорван у плеча, и из раны сочилась жидкая, лаково-тёмная кровь, отравленная кадмием. Я поймал себя на мысли, которая пришла слишком быстро, чтобы я мог её остановить: это не так плохо, как могло бы быть. Гораздо хуже потерять опытного спеца — человека, за плечами которого годы, десятилетия службы, знание систем, навыки, которые нельзя заменить. Ребёнок... ребёнок — это просто заготовка. Потенциал. Возможность, а не действительность. Мысль была ужасной. Противной. Но она была рациональной, и это делало её ещё страшнее.

Я посмотрел на Марту. Она стояла рядом, не двигаясь. Её глаза — обычно спокойные, холодные, врачебные — были расширены. В них плескался ужас. Не страх. Не тревога. Глубинный, слепой ужас — тот, что не подчиняется Регламенту, не лечится супрессантами, не прячется за медицинскими протоколами. Тот, который делает человека слабым, беззащитным, настоящим.

Я не мог понять, что с ней происходит. Пока не посмотрел на кокон. И тогда на меня обрушилось осознание. Сильно, тупо, как обухом по затылку. Знакомые черты — бритую голову, широкие плечи, любопытный взгляд, которым он смотрел на меня, когда я рассказывал ему про поверхность и камнедухов. Мой рассказ, мои слова, мой мир — всё, что я вложил в него, — сейчас лежало там, в этом прозрачном гробу.

Галилео. Парнишка из служебной ниши. Тот самый, который мыл сифоны и задавал вопросы, на которые у меня не было ответов. Тот самый, который слушал меня с открытым ртом и верил в сказки... Мой биологический сын.

Я ждал, что меня накроет. Что придут чувства — отеческие, тёплые, защитные. Что я почувствую боль, ярость, желание уничтожить виновных. Но ничего не пришло. Я стоял и смотрел на мальчика, который был моей кровью, и чувствовал только безразличие. Забвение там, где должна была быть буря. Может, где-то в глубине души мне было жаль его. Но это чувство было таким призрачным, таким далёким, что я не мог понять — оно действительно существует или это просто игра воображения, попытка убедить себя, что я не монстр.

Я вдруг понял, что меня тревожит не Галилео. Марта. Я смотрел на неё и вспоминал всё, что было между нами. Одиннадцать лет. Каждую неделю. Каждый раз, когда я приходил в её каюту, снимал униформу и проводил с ней час, который позволял мне не сойти с ума. Она была единственной женщиной, которая сказала мне «да». И она была той, кто теперь смотрел на своего умирающего сына.

Я знал, что она чувствует. Это был её личный апокалипсис. Её материнский инстинкт, который она так долго подавляла, который она прятала за хладнокровием врача, взорвался. И теперь она смотрела на то, что отняли у неё. Не крыса, не Регламент и не случайность. Оракул. Оракул, которому мы доверяли все. Который должен был защищать. Который должен был видеть. Который должен был предотвращать.

Я попытался что-то сказать. Открыл рот и не услышал своего голоса. Звуки умерли где-то в груди, превратившись в комок, который невозможно было проглотить. Я хотел сказать ей: «Всё будет хорошо». Хотел сказать: «Мы справимся». Хотел сказать: «Ты сильная». Но я не мог. Потому что знал: это будет ложью, и она это почувствует.

— Мне пора, служба зовёт, — коротко бросила Марта и направилась в сторону процедурного блока.

Я остался стоять, глядя, как она исчезает. Врачи, которых выдернули с отдыха, потянулись следом. Последнее, что я увидел, — как несколько белых фигур окружили кокон. После этого дверь с глухим металлическим грохотом закрылась, отрезая меня от операционной.

Двое офицеров остались стоять по обе стороны входа — неподвижные, как статуи, в своих скафандрах. Они не смотрели на меня. Казалось, они смотрели в пустоту. Эта пустота была красноречивее любых слов.

В зале осталась только рабочая смена. Кюри стояла в нескольких шагах от меня, наклонившись над личным терминалом. Я подошёл к ней. Всё здесь и так было ясно — ответ лежал на поверхности, как трупная вода в кадмиевой хляби. Но я всё же решился.

— Он ведь не жилец?

Кюри оторвала взгляд от терминала, подняла на меня глаза. Она смотрела на меня так, будто я был не человеком, а очередной проблемой, которую нужно решить.

— Да, — ответила она безразлично и снова уткнулась в экран. — Эвтания пройдёт быстро и безболезненно. У нас нет ресурсов для долгой борьбы с неизвестными мутациями. Риск эпидемии слишком велик. У стерильных жителей Курганов нет иммунитета. Если вирус мутирует внутри укушенного и передастся воздушно-капельным путём — рано или поздно нам всем конец.

Она снова подняла на меня взгляд. На этот раз в нём мелькнуло что-то — может быть, тень терпения, может быть, снисходительность.

— Труп доставят в инсинератор так же, как и доставили сюда. Всё просто.

— Он быстро умрёт?

Кюри фыркнула. Слово «умрёт» было чуждым для её слуха, грубым, непрофессиональным. Врачи привыкли оперировать другими словами: «летальный исход», «терминальная стадия», «прекращение жизнедеятельности».

— Быстро. В кокон через порт введут смертельный седативный премикс — смесь нейротоксинов, которая останавливает сердце за секунды. Он заснёт без боли. И больше не проснётся.

Она помедлила, словно проверяя, понял ли я.

— Регламент есть Регламент.

Я хотел сказать что-то ещё, но слова растворились, не родившись. Я стоял и смотрел, как она снова уткнулась в терминал.

Прошло не более десяти минут. Дверь процедурного блока снова открылась, и офицеры замыкания молча зашли внутрь. Через минуту они вышли обратно. В их руках был тот же кокон. Но внутри уже не было жизни. Мальчик лежал всё так же неподвижно, но теперь его лицо было безмятежным — странная, почти издевательская умиротворённость, которую приносит только смерть. Офицеры замыкания направились к лифту.

Впереди — инсинератор. Этот парень не вернётся в Белковую Петлю. Его плоть не станет частью вечного круга переработки. Его прах развеется над бескрайними просторами Поверхности. Не самый плохой конец, как по мне. Всяко лучше, чем стать удобрением для аэропных лотков Службы Аква-Рециклинга.

Вслед за офицерами из процедурного блока вышли врачи. Они двигались с усталой, тяжёлой грацией людей, которые делали то, что должны были сделать, и теперь хотели только одного — забыться, отключиться, не думать. Кюри вскинула руку, призывая всех остановиться. Свет ламп упал на её лицо, сделав его ещё более бледным, почти прозрачным.

— Спасибо, друзья-сервы. Вы можете пройти в зону релаксации либо отправиться в свои каюты. Вы блестяще справились.

На мгновение мне показалось, что она хочет сказать что-то ещё — что-то человеческое, что-то настоящее. Но она лишь сжала губы.

— Очень жаль, что мы были вынуждены задействовать такой протокол, — произнесла она. — Но это часть Регламента. А он превыше всего.

Врачи разошлись — кто в зону релаксации, кто в свои каюты, кто просто исчез в коридорах. Среди них была Марта. Я видел её силуэт, мелькнувший в дверном проёме, но не стал

её искать. Не сейчас. Слова, которые я мог бы сказать, казались пустыми, ненужными, обречёнными повиснуть в воздухе, так и не найдя адресата.

Я двинулся в сторону лифта. На сегодня с меня достаточно впечатлений. Хватило и сирены, и крыс, и смерти, которая прошла мимо меня, но зацепила кого-то рядом. Пришло время закрыться от всего этого.

Лифт бесшумно скользнул вниз, и я оказался перед дверью своей каюты. Она встретила меня привычной стерильностью — компактная, минимальная, такая же, как у всех. Здесь не было ни одной мягкой или пористой поверхности, способной задержать частицы пыли или изотопов. Это был монолитный кокон, отлитый из белого антисептического прочного винила. Каждый сантиметр, каждый стык, каждый элемент интерьера был жёстко встроен в систему рециклинга Курганов. Ничего лишнего. Ничего случайного.

Я провёл рукой по гладкой стене, чувствуя под пальцами холод АБС-винила. Мебель, если это можно назвать мебелью, была частью несущего каркаса — её невозможно было передвинуть или сломать. Кровать — просто литая полка-ниша, выступающая из стены. Вместо матраса — двухсантиметровый слой вспененного изолона, покрытый жёстким лавсановым полотном. Он не задерживал пыль, не впитывал запахи, не напоминал о том, что такое уют.

Я сел на край полки-койки и уставился на пустой стол. Столешница сияла холодной, гладкой поверхностью — она была безликой, как всё здесь, как само время в этом бетонном коконе. Ни царапины, ни пятна, ни следа жизни. Только чистота, от которой хотелось зажмуриться. Рядом с койкой стоял стул. Всё на своих местах. Всё, как всегда.

Я сделал глубокий вдох. Воздух был прохладным, сухим, пах озоном. Шестнадцать градусов — всегда одна температура, без колебаний, без сюрпризов. Компрессоры под полом бесшумно засасывали углекислый газ, уводя его в трубы Агро-Кольца. Даже дыхание здесь было частью системы.

Оставалось только переодеться, помыться и просто лечь, отключив голову. Я начал стягивать рабочий комбинезон. Он был выдавшим виды. И всё же он стал частью меня. Наверное, из сотен одинаковых униформ Курганов я бы даже на ощупь опознал свой. Я знал каждую складку, каждый шов, каждый миллиметр этой ткани, которая привыкла к моему телу, как тело привыкло к ней.

Хотя все они одинаковы — сотканы из сверхпрочного полиамидного моноволокна. К нему не липнет ни грязь, ни органика, ни мыльная взвесь, ни едкая кадмиевая пыль. Всё это скатывается с него при одном прохождении санитарного шлюза. Единственное, что отличает наши комбинезоны — цвет. Матово-серый, со светлым оттенком. Никаких нашивок, никаких знаков отличия, никакой индивидуальности.

Я направился в санитарный бокс к паро-озоновой нише. Сопла в потолке открылись, и меня обдал пар — плотный, обжигающий. Он оседал на коже, дезинфицировал, вымывал соль и запахи, въевшиеся в поры за долгие часы работы. Ни мыла, ни мочалки — только жидкий антисептик, который распадается в биореакторах, как и всё остальное в этом мире. Я стоял под этим паровым душем, закрыв глаза, позволяя себе минуту тишины. Вода заканчивалась — минуты шли, клапан перекрывался, и я чувствовал, как вместе с паром уходит и напряжение.

Глаза уже начинали слипаться. В стене напротив койки виднелась узкая вертикальная щель с магнитной планкой — неприметная, почти сливающаяся с серой поверхностью. Я легким движением коснулся её, и из монолита бесшумно выехал кассетный пенал-бокс. Внутри, на вольфрамовых зажимах, меня ждал сменный серый комбинезон и два белых носка для сна. Всё. Больше вещей человеку не положено. Ни лишней нитки, ни запасной пуговицы, ни тени личного выбора. Только функциональный минимум, строго рассчитанный на поддержание жизни. Я сделал мысленную заметку — не забыть отправить свою форму в ультразвуко-

вую очистку в санитарном шлюзе яруса. Но даже эта простая мысль далась с трудом: усталость брала своё, и глаза уже почти не слушались.

Я взял моноскин для сна. На ощупь он напоминал прохладную «вторую кожу» — гладкую, скользкую, почти живую — белый мембранный полиуретан. Но он не просто защищал — он слушал. Мембранная ткань собирала влагу, которую тело выделяет во время сна, и через тончайшие микрокапилляры испаряет её наружу, прямо в улавливатели вентиляции каюты. Даже пот здесь не пропадает зря — он возвращается в контур Аква-Поле, замыкая очередной круг.

Я быстро надел моноскин. Он скользнул по телу — прохладный, гладкий, белый. Я лёг на спину, чувствуя, как умная ткань впитывает моё тепло, как мембрана начинает свою бесшумную работу.

Над столешницей, чуть выше уровня глаз, в толщу пластика был впрессован узкий горизонтальный карман из белого композита. Наша книжная полка. В ней лежало несколько потрёпанных томов — древние книги, которые переходят из рук в руки, из поколения в поколение. Я потянулся к одной из них, но рука бессильно упала. Сил хватило только на одно — рухнуть на кровать и не двигаться.

Наконец-то можно было привести мысли в порядок, обдумать сегодняшний день — этот бесконечный, вывернутый наизнанку день, в котором было всё: тревога, страх, смерть, и тишина, которая наступила после.

Я не знаю, с чем на душе Марта ушла к себе в каюту. Мне трудно это представить. Может быть, она сейчас сидит на своей жёсткой койке и пытается забыть лицо Галилео. А может быть, она уже спит — провалилась в спасительное беспамятство, которое приходит, когда сил не остаётся даже на боль.

Но мысль о сексе не давала мне покоя. Я не хочу её терять. Она — мой партнёр. Я могу казаться бесчувственным и чёрствым куском льда, но это я. Такой, какой есть. И я не умею быть другим. Так уж вышло, что секс в Курганах стал не просто физиологической потребностью. Он стал одним из движущих факторов существования — наравне с Регламентом. Мы служим Регламенту ради выживания. А секс стоит рядом, на том же пьедестале. Два столпа, на которых держится наш мир.

Правила просты, как сама жизнь в комплексе. Линейные спецы могут один раз в неделю заняться сексом, но только с согласия партнёра. Старшие — уже без согласия, но только с теми, кто младше рангом. Равные по статусу имеют право отказать, и это право свято. И лишь руководители служб могут претендовать на три раза в неделю — с любым, кто стоит ниже их на иерархической лестнице.

Эти правила — не прихоть Отцов-Основателей. Это инструмент. Мощный мотиватор, который толкает спецов вверх по карьерной лестнице, заставляя их работать, учиться, служить. Никакие супрессанты не могут убить в нас то, что заложено природой. Мы все кого-то хотим. Хотя бы ради эмоциональной разрядки. Хотя бы ради того, чтобы на один час забыть, что ты — просто шестеренка в огромной машине.

Ходят легенды, что на заре Курганов секс был беспорядочным, хаотичным, неконтролируемым. Это приводило к сбоям в Регламенте, к конфликтам, к ревности, к насилию. Отцы-Основатели не церемонились с нарушителями — они знали, что хаос убивает быстрее, чем радиация.

Тогда и родился протокол Индукции Эона. Все нарушения разделили на два вида: обычные и тяжкие. Обычные — небрежность, опоздания, халатность. Тяжкие — те, что создавали прямую угрозу балансу комплекса. За одно обычное нарушение житель получал Чёрную Отметку. Оракул хранил её два месяца, а затем автоматически снимал. Если за это время спец получал ещё одну — срок обнулялся и вырастал до трёх месяцев. Третья отметка делала срок четырёхмесячным. И только следующее нарушение уже приводило к наказанию.

В довоенном мире наказание означало изоляцию. Ограничение свободы. Но в Курганах, где каждый кубометр воздуха на счету, где каждый литр воды расписан по минутам, — изоляция была непозволительной роскошью. Слишком дорогой, слишком нерациональной.

Первыми, кто испытал этот протокол на себе, стали нарушители запрета беспорядочного секса. Видимо, поначалу спецы ещё не воспринимали Регламент всерьёз. Они думали, что правила можно обойти, что они написаны для других. Отцы-Основатели — они же первые Хранители Регламента — приняли волевое решение: протокол Индукции Эона будет исполняться бескомпромиссно.

Людей забирали офицеры замыкания. Всегда внезапно. Посреди смены, когда терминал мигал привычным зелёным, а руки уже не чувствовали клавиш. Они появлялись в проёме двери — молчаливые, серые, неотвратимые, — и забирали человека. Без объяснений. Просто — уводили. Пропадали они на два месяца. Но когда они возвращались, их уже нельзя было назвать прежними. Словно внутрь вселилось что-то чужое, пустое, напуганное до самой глубины. Их глаза смотрели сквозь пространство, не фокусируясь, словно видели что-то другое, что-то, что нам было не дано различить. Они вздрагивали от каждого звука — от скрипа двери, от шороха робы, от собственного дыхания, когда оно становилось слишком громким.

Говорили, что над такими проводили особую процедуру. Их фиксировали в кресле. Через направленные акустические резонаторы в уши запускали звук. Не просто звук — агрессивный, панический психоакустический шум, от которого мозг начинал метаться внутри черепа, пытаясь найти убежище, которого не существовало. А пока звук разрывал сознание извне, врач внутривенно вводил прецизионный химический коктейль. Что входило в его состав — никто не знал. Говорили о каких-то препаратах кетаминового ряда, о мощных стимуляторах центральной нервной системы. О смеси, которая стирала грань между временем и бесконечностью.

Твой разум застревал в одной-единственной секунде. В том миге, когда страх становится абсолютным, когда осознание собственной беспомощности достигает предела. И эта секунда — один удар сердца, один вдох — растягивалась на столетия. Ты проживал ужас снова и снова, пока сознание не начинало крошиться, рассыпаться серой пылью, как известняковая стена под ударами шлакового вепря. Каждая микросекунда превращалась в эон. Каждый вдох — в вечность. Время переставало существовать, оставался только чистый, концентрированный страх.

А потом — покой. Забытьё. И возвращение. Два месяца Служба Здоровья и Генетики чистила твою кровь, фильтруя остатки того, что ввели в вену. Два месяца они собирали твой неокортекс по кускам — как мозаику, как разбитое зеркало, которое нужно склеить, чтобы в нём снова можно было смотреться. Не потому, что им было жаль. Потому что Регламент требовал вернуть тебя в строй.

Через шестьдесят циклов ты снова стоял у терминала. Ты смотрел на экран, и пальцы твои нажимали клавиши с той же механической точностью, что и раньше. Ты был предан Регламенту. До конца. До последнего дня. Но не потому, что верил в него. А потому что твоё тело помнило то, что разум пытался забыть: у Хранителей есть ключи от вечности. И они не колеблются, когда наступает время их использовать.

Говорили, что те, кто пережил Индукцию Эона, редко доживали до следующего десятилетия. Пятнадцать лет — вот предел. Никто не знал, что страшнее: та единственная секунда, растянутая на столетия, или долгие годы после, когда ты уже не человек, но ещё не машина. Когда ты существуешь, но не живёшь.

Это стало переломным моментом. Все поняли — Регламент не шутит. Он не прощает. Других вариантов быть не может. Это заложило фундамент жёсткой дисциплины Курганов — той, с которой мы живём до сих пор.

Я невольно вспомнил слова Киры и Марты. Они говорили, что случаи проникновения крыс-пасюков были и раньше. История и правда знает такие примеры. И один из них был не

сбоем Оракула — ошибкой инженера Службы Инженерного Замыкания. Они покусали двух спецов — агро-инженера и ментора. Те мирно спали в своих каютах. А наутро их уже не было в живых.

Это стало первым прецедентом тяжкого нарушения. Инженера, допустившего ошибку, подвергли процедуре. С тех пор протокол Индукции Эона не применялся. Ни разу. Комплекс Монолитные Курганы работал штатно, как часы, следуя жёстким протоколам Регламента, вращаясь в бесконечных кругах Белковой Петли и Технологического Цикла. Мы привыкли к этому порядку. Мы полюбили его. Мы стали им.

Текст Регламента написан кровью. Не чернилами и не цифрами. Кровью тех, кто не верил, кто ошибался, кого вывели на снег и оставили умирать. И это — единственное, что удерживает нас от падения в ту самую бездну, которая ждёт за пределами Курганов.

Тесла зачем-то вызвал всех старших инженеров Службы Инженерного Замыкания. Такое случалось нечасто и обычно означало нечто действительно важное. Меня это не сильно удивило на фоне всего, что происходило в Курганах.

Я спускался длинной шахтой лифта, потом пешим трапом, и с каждым десятком метров менялся воздух: наверху — сухой и стылый, здесь — тёплый, влажный, гудящий, пахнущий горячим металлом, смазкой и озоном. Гул нарастал — ровный, глубокий, на грани слуха, тот, что слышишь не ухом, а грудью. Гул Петли. Пятый ярус не молчал никогда. Он работал четыреста лет без остановки, потому что стоило ему замолчать — и через сутки-двое Курганы стали бы такой же мёрзлой могилой, как весь мир наверху.

Ярус встретил меня чревом машины. Низкие своды, оплетённые трубами в палец и в обхват; магистрали горячей и холодной воды, паропроводы, кабельные лотки, распределительные щиты; теплообменники размером с отсек; турбины и генераторы за решётками, дающие ток всему, что наверху зовётся жизнью. Здесь всё было честно: только давление, температура, поток, — и либо ты держишь их в норме, либо умираешь. Я любил пятый ярус. На нём я понимал, зачем я.

Но Тесла ждал нас не здесь. Он ждал ниже. Под пятым ярусом был ещё один уровень — подуровень, куда вёл отдельный трап за отдельным гермолюком и куда имели допуск немногие. Реакторный зал. Само сердце. Мы спустились туда вслед за Теслой — восемь старших инженеров, и я среди них, — и гермолюк с шипением сомкнулся над нашими головами, отсекая даже пятый ярус.

Реакторный зал был не похож ни на что в Курганах. Он был огромен и пуст в середине — редкость под землёй, где каждый кубометр на счету. Стены и свод — в толстой защите: бетон, свинец, водяные баки-экраны, гасящие излучение. Пол — рифлёная сталь. По периметру — пульта, стойки приборов, ряды манометров и самописцев, багровые и зелёные глаза индикаторов, мерцающие в полумраке. А в центре, окружённый защитой, за смотровыми окнами из свинцового стекла, стоял он.

Реактор. Котёл, как звали его инженеры. Не громада — приземистый бронированный цилиндр в рубашке экранов, обвязанный первым контуром: толстые трубы, по которым ходила горячая вода под давлением, унося тепло из активной зоны к теплообменникам, к турбинам, к теплу и свету всех пяти ярусов. Он гудел ниже и глубже всего на свете. Он был сердцем Курганов в самом прямом смысле: гнал по трубам-жилам горячую кровь, которой жили мы все.

Я стоял и смотрел на него с тем, что у инженера заменяет благоговение. Оракул был умом Курганов — считал, следил, вёл Регламент. А это было сердцем. И если ум мог ошибаться, лгать, играть с нами словами, то сердце не лгало никогда: оно либо билось, либо нет.

— Спасибо что быстро отреагировали уважаемые сервы. Подходите ближе, — сказал Тесла. Он стоял не у котла, а у пультовой стойки в глубине зала, за биозащитой. — Все сюда, к стойке. К контуру не подходить.

Мы подошли к стойке, где стоял Тесла.

— Не буду напоминать вам про Оракул и его проблемы. Вы сами все прекрасно знаете. Для нас сейчас гораздо интереснее другое — это последний инцидент с нарушением протоколов безопасности Курганов.

На стойке перед нами стоял защищённый бокс — толстостенный ящик со свинцовым стеклом и парой манипуляторов-«рук», куда прячут то, что фонит и чего нельзя касаться живой рукой.

— Дожигатель, — начал Тесла. — Вы знаете, что это такое. В активной зоне излучение бьёт по воде и рвёт её на водород и кислород. Радиолиз. Водород копится в газовой подушке контура. А водород — это гремучий газ. Дай ему набраться до порога да искру — и он рванёт так, что вскроет первый контур. А вскрытый контур — это конец Котла. А конец Котла — конец Курганов. Через двое суток.

Он тронул рукоятки, и стальные пальцы манипулятора в боксе повернули к стеклу приземистый узел с решёткой, снятый с обвязки и принесённый сюда.

— Вот это водороду и не давало копиться. Дожигатель: катализатор, на котором водород тихо, без пламени, соединяется обратно с кислородом в воду. А это, — Тесла поддел манипулятором тонкую перекушенную трубку, — линия датчика, что сторожит, сколько водорода в подушке. Работало четыреста лет. Но недавно отказало. И Оракул этого не заметил, уважаемы сервы.

Манипулятор развернул узел, и мы увидели, что у него внутри. Гнездо. Свалившийся комок ветоши, обрывков изоляции, костей и присохшей грязи — крысиное гнездо, вынутое из нутра дожигателя и запаянное в боксе, потому что оно фонило. Пасюки. Во время прорыва они прошли водостоками и кабельными лотками до самого низа и свили гнездо в самом тёплом углу — в кожухе дожигателя, у живого контура.

— Смотрите, что они сделали, — мрачно сказал Тесла, водя манипулятором. — Гнездом забили проток катализатора. Дожигатель задохнулся — водород он почти не ел. Пробоотбор датчика и вовсе закупорен. И вот тут самое страшное. Датчик не сдох. Сдохни он — Оракул поднял бы тревогу, обрыв линии он видит. Нет. Датчик жив и честно мерил — только застойный карман под трухой, мёртвую точку, где водорода нет. И честно показывал: норма. Оракул видел валидное зелёное показание и был спокоен.

Он отпустил манипуляторы и поднял со стойки запаянный пробоотборник — стальной баллончик. Тесла не любил строгие протоколы Регламента. В служебном быту он говорил всегда прямолинейно и максимально просто. Этим он сильно отличался от всех остальных в Монолитных Курганах.

— Проба газа. Её сняли позавчера из истинной точки контура. Не из мёртвого кармана, а из живой подушки, где на самом деле копится. Вот что читает Оракул. — Он вывел на экран ровное зелёное число. — А вот что в контуре.

Тесла пустил пробу из баллончика через газоанализатор на стойке. Мы смотрели на шкалу. Стрелка поползла. Прошла зелёное. Прошла жёлтое. Встала в красном, задрожав у самого края.

— Вот сколько его там на самом деле, — сказал Тесла. — Оно там долго копилось. Дожигатель не ест, датчик врёт, водород ползёт вверх. Ещё немного — и хватило бы одной искры, одного разряда статики на сухом контакте. Я вскрыл это позавчера. Полез в защите проверить дожигатель после прорыва и увидел гнездо, снял пробу и вынул узел. Оракул не сказал бы нам ничего. Он до сих пор уверен, что здесь норма. Эта всевидящая машина не видела, как котёл готовилось взорвать весь дом.

Он выпрямился и оглядел нас — восьмерых старших инженеров, бледных в багровом свете.

— Вот зачем я вас собрал. Это чинить не нужно — дожигатель чистят. А чтобы вы поняли то, что понял я. Мы вверили Курганы машине и привыкли: раз Оракул молчит — значит, всё

хорошо. Но Оракул видит мир только через свои датчики. А датчик можно сломать. Вот в этом то и проблема — наш Оракул ничего не увидит. Это даже не сбой, это самая настоящая дыра в самом зрении.

Он помолчал.

— Хранители приняли решение. С сегодняшнего дня вводится протокол. Ручной Контур. — Он выговорил это медленно, весомо. — Отныне ни один критический параметр Монолитных Курганов не считается верным только потому, что так сказал Оракул. Каждый — сверяется руками. Посменно, посуточно, старшими инженерами и их сменами: давление, температура, поток, газ, уровни, все что мы хоть как-то измеряем и контролируем — всё меряется вручную, своим прибором, в истинной точке, и сверяется с тем, что показывает Оракул. Расхождение — в журнал отклонений, без промедлений. Мы станем глазами и руками при машине. Ручным слоем сверки. Там, где её зрение можно выгрызть, — встанет человек и перемеряет.

По залу прошёл гул — не машинный, человеческий. Кто-то кивал: разумно, спасение, как же иначе. Кто-то хмурился: это же вечная работа, тысячи замеров, вся жизнь в сверке.

— И как долго это продлится?

Это был Хокинг — мой ровесник, высокий, темноволосый, с квадратной челюстью и цепким взглядом из-под высокого лба. Я помнил его по Службе Программной Педагогики: он подавал надежды ещё тогда. И оправдал их — старший инженер в двадцать один, со всеми полагающимися привилегиями.

— Пока не получим привычную стабильную картину от Оракула, — ответил ему Тесла. — Может, через месяц, может, через два, а может, это затянется на годы. Кто знает. Теперь мы уже не понимаем, каким параметрам можно доверять, а каким — нельзя. Вы сами видели и слышали, что тут было. И Хранителей вы тоже слышали. Наш Оракул теряет былую форму. Поэтому я готовлюсь к тому, что будет только хуже.

— Мы теперь как второй контур, только ручной, — сказал я.

— Да, всё так. Второй контур проверки. Пока Оракулу нельзя доверять, так и будет. Это как у древних людей: они никогда полностью не доверяли искусственному интеллекту.

Было видно, что Хокинга этот ответ не устроил. Он любил докапываться до сути.

— Серв Тесла, вы же сказали, что Оракул не ошибся? Он честно считал показания с датчика. Так, где же здесь сбой? Получается, Оракул отработал штатно.

— Отработал. А ещё к нам пролезли крысы. Кто в этом виноват — Оракул? Или очередной датчик? А может, всё сразу? Мы можем дальше стоять тут и гадать, строить теории. Но у нас есть труп, есть крысиное гнездо. Этого достаточно. Хватит.

Тесла замер на месте и, с нарочитой неспешностью, повернулся в сторону Котла. Вопросы, которые мы задавали, уже успели вывести его из себя, и он не видел смысла притворяться.

— Вы и сами прекрасно знаете, что Котёл сам выращивает себе топливо из мёртвого тория. Сжигает, перерабатывает — и снова по кругу. Ядерный оборот не бывает вечным. Через год мы полезем в него снова — перекладывать сборки. И там не будет права на ошибку. Иначе... — он осекся, — но вам это и так известно.

— К нам и раньше проникали пасюки, — негромко вклинился Парсонс. Старый, шершавый, как корка на бетоне. Шестьдесят лет, самый опытный из нас. Он видал такое, что нам и не снилось. — И сбои были, и люди... Вернее, сбои у людей. Но Курганы всё ещё стоят, а мы всё ещё дышим.

Тесла резко вскинул руку вверх.

— Уважаемые сервы! Прошу заметить, что это теперь новый протокол. Его утвердили сами Хранители, а значит, это часть Регламента. Хотите оспорить? Пожалуйста, я вам мешать

не собираюсь. Но вы и без меня знаете, куда с этим идти — на первый ярус. Ну а пока извольте выполнять приказ.

Тесла опустил глаза на терминал на левой руке.

— Времени потрачено достаточно. Вопросов нет? Тогда по рабочим местам. Удачной службы.

Вопросов оставалось множество — у каждого была своя тысяча. Но Тесла ясно дал понять: отныне это часть нашей службы, часть Регламента. На этом можно было ставить точку.

Я вспомнил уроки менторов из Службы Программной Педагогики. Они говорили: первые жители Курганов не верили Оракулу. Они перепроверяли каждый его шаг, вручную пересчитывали данные, не доверяли автоматике. Со временем это исчезло — как хвост, который природа отсекала за ненадобностью. Оракул стал для нас всем. А мы стали его придатком. И Котла — тоже, наверное.

Теперь мы возвращаемся к истокам. Сознательно. И это чувство — странное. Оно пугает и успокаивает одновременно. С одной стороны — Ручной Контур даёт нам иллюзию контроля. Мы снова хозяева положения. С другой — мы идём назад, в те времена, когда Курганы были молоды и опасны. Те времена хранят много секретов. Тёмных, пыльных, забытых. Мы открываем старый сундук — и не знаем, что внутри.

Прошло тридцать семь дней. Почти два месяца. Срок, за который в Курганах успевают забыть даже самые громкие объявления Хранителей. Помню, как тогда, в купольном зале, слова Шотта рухнули на нас, как каменные глыбы. Казалось, что миссия на Поверхность вот-вот начнётся, что добровольцы найдутся в тот же час, что всё решится быстро, как удар молнии. Но время шло, смены сменяли друг друга, и отряд так и не был сформирован. Люди привыкают ко всему. Даже к мысли о том, что кто-то должен умереть ради их выживания.

Сбои Оракула, которые ещё месяц назад вызывали панику, теперь стали чем-то вроде фона. Они формировали новую нормальность — ту, в которой мы, жители Курганов, удивительно быстро научились существовать. Со стороны могло показаться, что эти сбои — ещё один пункт Регламента, который всегда был, просто мы его не замечали.

Внезапно пришло осознание, что первоначальный страх ушёл. Испарился, как вода под дуговыми лампами. Я понял: даже с деградирующим Оракулом можно жить. Годами. Может быть, десятилетиями. Главное — принять это как данность. Уложить в голову, что та стабильность, на которой мы выросли, — это иллюзия. Теперь нужно быть начеку. Но к этому тоже привыкаешь.

Особенно меня радовало одно: я наконец решил свою главную проблему. Агроинженер Ада стала моим новым партнёром для любовных утех. Хотя слово «утехи» — слишком громкое для того, что происходило между нами. Было видно, что наши встречи проходят без энтузиазма с её стороны. Она не сопротивлялась, не отворачивалась, но и не тянулась ко мне. Просто позволяла. Как позволяют делать укол или забирать кровь на анализ. Но, будучи простым линейным служакой, она не могла мне отказать. И я не видел в её глазах отвращения — только безликую апатию. И этого мне было достаточно.

Марта постепенно вышла у меня из головы. Будто и не было всех этих лет, что мы проводили вместе — стабильно, раз в неделю, по расписанию, как всё в Курганах. Я пытался вернуться к ней ровно один раз. После смены, в регламентный день. Подошёл к двери её каюты — она была заперта. Я постоял несколько секунд, глядя на холодную поверхность металла, и ушёл. Ни сожаления. Ни боли. Ни угрызений совести.

Дело было даже не в супрессантах. Просто так устроена жизнь Монолитных Курганов. Всё подчинено Регламенту. Секс — не исключение. Люди приходят и уходят, как смены, как циклы, как вода в Белковой Петле.

Моя смена уже закончилась, и я спешил к Аде. Войдя в каюту, я замер на пороге. Ада лежала на кровати — полностью обнажённая, с распущенными волосами. В свои восемнадцать она выглядела как нимфа из древних мифов, которые я читал в исторических хрониках. Большие ясные голубые глаза, пухлые губы, русые волосы. Подтянутая фигура, средних размеров грудь — всё было правильным, гармоничным, почти совершенным. Я ни на секунду не колебался, когда впервые обратил на неё внимание. Потому что в Курганах не колеблются. Здесь делают выбор и живут с ним.

— Как прошла твоя смена? — бросила она обычную дежурную фразу, не глядя на меня. Я начал стягивать комбинезон, стоя к ней спиной. Мне было легче говорить, не видя её глаз.

— Всё как обычно. — Я старался, чтобы голос звучал безразлично. — Так же, как и вчера. Так же, как будет завтра.

— Ты читал историческую военную хронику?

Вопрос прозвучал неожиданно. Я на мгновение замер.

— Да, читал, — сказал я наконец. — Там много интересного. Того, о чём не рассказывают менторы.

Я снял комбинезон и небрежно бросил его на стул. Повернулся к Аде и встретился с её взглядом — в голубых глазах горело любопытство. Взрослое, но чистое. Почти доверчивое.

— Может, после секса ты мне расскажешь про Урмовых Патриархов? — спросила она. — Лучше тебя это никто не сделает.

Я вопросительно приподнял бровь.

— Мне лестно такое слышать. Стесняюсь спросить, но с чего ты это взяла?

Ада мягко улыбнулась. Её лицо было таким плавным, таким лёгким, что я невольно смутился — как мальчишка, которого похвалила старшая. Она уже не была ребёнком — семь лет службы давали о себе знать. Но в этой улыбке было столько детской наивности, что тридцатилетний мужчина не мог чувствовать себя иначе.

— Все это знают, — сказала она просто. — Серв Бор — лучший рассказчик с потрясающей памятью. Даже дети это знают.

Я слегка улыбнулся улыбкой, которую приберегаю для моментов, когда не знаю, что сказать. Удивительная вещь — слухи. Они кружатся вокруг тебя, задевают всех, но не касаются тебя самого. Ты слышишь их, но они не оставляют следов.

— Хорошо. Постараюсь оправдать твои ожидания.

Я лёг рядом с ней. Описывать этот процесс нет смысла — секс, как он есть. Без эмоционального надрыва. Без поцелуев, без ласк. Строго механически, по протоколу, по расписанию. Всё закончилось быстро. Шесть-семь минут — и мы уже лежали на кровати, каждый в своей тишине.

Признаться честно, я врал сам себе, когда говорил, что Марта покинула мои мысли. В такие моменты — в этой рутине, в этом механическом движении — память возвращала меня к нашим встречам. Там, с Мартой, было что-то другое. Это пришло не сразу, но со временем между нами возникла... искра? Трудно сказать, что это было. Хотелось бы назвать это чувствами, но, наверное, это был бы самообман. Может, это и не чувства, но уж точно не обычный для Курганов плотский контакт — не та «разгрузочная сессия», как это официально значилось в протоколах Регламента.

Затянувшееся молчание прервала Ада:

— Ну... Как насчёт того, чтобы сдержать слово?

По её голосу я понял: легенды Монолитных Курганов были интереснее нашего безликого секса. И в этом было что-то трогательное — почти хрупкое. Я повернул голову в её сторону.

— Хорошо. Я расскажу тебе всё, что знаю.

Я приподнялся на кровати, опершись спиной о стену.

— Говорят, это люди, которые каким-то образом умудряются выживать на самой Поверхности. По легенде, Урмовые Патриархи свободно перемещаются там. Им не страшны ни дикие звери, ни ядовитый воздух, ни радиация, которая пронизывает всё вокруг. При встрече с ними они просто стоят на твоём пути. Ты не видишь их лиц — шлемы скрывают всё, — но ты чувствуешь их взгляд. Их доспехи не похожи ни на что из того, что мы знаем. Они — словно пришельцы из другого времени. Никто не знает, где они живут, какими силами обладают. Они высокие — выше любого жителя Курганов.

Я выждал пару секунд.

— Неизвестно, что скрывается под их доспехами. Может быть, некие высшие существа, получившие свою силу ещё до войны и готовые к ней. А может, они — результат экспериментов, о которых мы никогда не узнаем. Никто не знает их истинных целей. Они не зовут к себе. Но если человек, повстречавший их на Поверхности, шагнёт в их сторону, — он не погибнет. Патриархи не тронут его, не увлекут в Бореальную Урму на верную смерть. Смелчак просто исчезнет. А через какое-то время вернётся — но с пустым взглядом, потерянным рассудком.

Ада слушала, не дыша. Её губы были приоткрыты, и я видел, как в её взгляде смешиваются страх и любопытство — два чувства, которые всегда идут рука об руку, когда речь заходит о неизведанном.

— Легенда гласит, что Ньютон повстречал Урмовых Патриархов во время своей миссии. И пропал на пятьдесят три дня. Никто не знает, что с ним случилось. Может, он был их пленником. Может, они изучали его. А может быть, они пытались помочь ему — так, как умеют только те, кто живёт за гранью нашего понимания. Но когда он вернулся, он уже не был собой.

Голос Ады дрогнул, когда она спросила:

— Он рассказывал, что с ним было? Что они с ним делали?

Мой молчаливый жест ответил за меня.

— Нет. Он оставил после себя лишь обрывки слов — бессвязные, безумные. Официальных записей нет. Только слухи, только домыслы, которые с годами обросли тайной и стали красивой легендой. Но правды в ней столько же, сколько снега в этих стенах.

Ада нахмурилась. Казалось, что в её взгляде промелькнула тень надежды.

— А если они чего-то ждут от нас?

— Чего-то ждут? — Я улыбнулся уголками губ, почти незаметно. — Даже если они существуют, кто мы для них? Пыль под ногами. Муравьи, которые копошатся в земле, не зная о мире за пределами своего муравейника.

Ада замялась. Я видел, как слова рождаются в ней, как она пытается облечь их в форму, которая не рассыплется от первого же вопроса.

— Как же хочется верить, — прошептала она, — что мы не одни...

Я протянул руку и коснулся её волос — русого локона, упавшего на плечо. Они были мягкими, тёплыми, живыми.

— Мы всегда хотим верить, — тихо промолвил я. — Особенно в легенды. Они всегда там — где-то далеко, за горизонтом, за пределами серых стен. Они всегда красивые. Даже если в них только смерть и холод, они манят нас, как свет мотыльков.

Я посмотрел на неё — в её глаза, в которых горел тот же свет, что я видел у Галилео. Свет веры, надежды, любопытства. Свет, который не угасает, даже когда всё остальное уже давно превратилось в пепел.

— Ты можешь верить во всё, что захочешь. В Урмовых Патриархов, в камнедухов, в то, что за стенами есть другой мир. Но лично я верю в Регламент. И это единственное, что позволяет мне просыпаться по утрам и продолжать жить.

Мой вечер с Адой подошёл к концу. Я шёл по пустому коридору к себе в каюту. Вечер оказался не таким обычным, каким мог бы быть. Подходя к двери своей каюты, я заметил

на полу белый прямоугольник. Листок бумаги, сложенный пополам, лежал у самого порога, словно его кто-то специально оставил здесь — для меня. Я подобрал его, машинально сжал в пальцах, но не стал разворачивать. Усталость была сильнее любопытства.

Я вошёл в каюту, бросил листок на стол и рухнул на койку. Тело гудело, веки тяжелели, сознание плавно погружалось в серую дымку, которая приходила после долгих дней. Оставалось только одно — забыться сном. Но листок не давал покоя.

Я лежал и чувствовал его присутствие на краю стола — словно ловил на себе чужой взгляд. Странно — обычно даже самый маленький клочок бумаги мог разжечь во мне любопытство. Но сейчас было ощущение, что это просто мусор. Обрывок, который потерял кто-то другой. Тем не менее я протянул руку, взял листок и развернул его. Почерк был торопливым, неровным — строчки прыгали, буквы налезали друг на друга, будто писавший боялся не успеть. Я начал читать.

«Дорогой Бор.

Я так хотела сказать тебе это в лицо. Но не смогла. Я боялась увидеть в твоих глазах ледяное безразличие.

Много лет я боролась с чувствами, которые раздирали меня изнутри. Я запрещала им быть, прятала их глубоко, закапывала в себе, как закапывают мёртвых. Но они не умирали. Они ждали.

Жизнь в этом подвале — где люди не люди, а тени, скользящие по серым стенам, — это худшая шутка, какую только могли придумать высшие силы. Каждый день — одно и то же. Одни и те же лица. Одни и те же разговоры. Один и тот же воздух, который мы перерабатываем, чтобы снова вдохнуть.

И ради чего?

Регламент есть Регламент. Система должна работать. Ради выживания. Но что дальше? Мы просто выживаем. Без цели. Наша жизнь — очередной цикл Белковой Петли. Но петля давно висит у нас на шее. И она постепенно затягивается.

Когда у меня впервые отняли моего малыша, я не почувствовала ничего. Я знала — так надо. За нас уже всё решили, так написано в Регламенте. Но время шло. Я видела, как он растёт, как его учат ходить, говорить, думать, как он становится одним из нас. И внутри меня что-то начало меняться. Сначала это было похоже на искру. Я пыталась её задушить. Но она не хотела умирать. Она разгоралась, становилась всё ярче, пока не превратилась в пожар.

У нас отняли семью, Бор. Отняли смысл. И если ты хоть раз задавал себе вопрос, в чём истинная цель Регламента, — вот она. Сделать нас снова людьми. Вернуть нам то, что мы потеряли. Я не верю в высшие замыслы. Не верю в грандиозные планы Отцов-Основателей. Они хотели вытащить этот мир из хаоса, вдохнуть в него жизнь. Но те, кто пришёл им на смену, извратили всё. Хранители превратили нас — живых людей — в механизмы. В агрегаты. В узлы, которые скрипят и крутятся, но никогда не остановятся.

Сколько раз я засыпала с надеждой проснуться в тёплой комнате. С сыном на руках. С мужчиной, который смотрит на меня не как на партнёра по протоколу, а как на женщину. Сколько раз я просыпалась — и снова видела серые стены, слышала дыхание вентиляции и чувствовала, как моя душа превращается в пепел.

А потом я увидела, как умирает мой сын. Маленький мальчик истекал кровью на моих глазах. Я смотрела, как его тело забирают, как упаковывают в кокон, как уносят в инсинератор, как его прах рассеивают в холодном воздухе тайги.

Если у меня и была надежда, она умерла в тот момент. Это был наш сын, Бор. Наш. Теперь его нет. Как нет будущего. Я хочу, чтобы кто-то начал борьбу. С Регламентом. С его жестокими догмами. Ради наших детей. Ради нас. Будь сильным, Бор. Не дай сломать себя. А я для себя уже всё решила».

Я перечитал письмо дважды. Руки дрожали. Где-то в груди, там, где я привык прятать свои чувства, заворочалось что-то тёмное и тяжёлое. Я сжал листок в кулаке, чувствуя, как бумага хрустит под пальцами. Что означали эти слова? «А я для себя уже всё решила». У меня не было времени на раздумья — только действие. Страх, что меня снова затянет в очередной кошмар, оказался сильнее усталости. Я резко отбросил листок и, не помня себя, рванул по коридору к каюте Марты.

Коридор тянулся бесконечно. Я бежал, и в голове, как заевшая пластинка, прокручивались варианты, один страшнее другого. Я пытался унять панику, но сердце колотилось глухо и часто, как заведённый мотор.

Вот она — дверь. Заперта. Я начал колотить по ней кулаками, но в ответ — только мертвая тишина. Я заставил себя остановиться и подумать: что я могу сделать? Дверь закрыта. Либо она спит, либо уже всё кончено. У меня два пути: оставить всё как есть или вскрыть эту чёртову дверь.

Первый вариант — слишком рискованный. Если с Мартой случилось что-то серьёзное, Служба Внешнего и Внутреннего Замыкания выйдет на меня. У них свои способы. Скрыть письмо? Узнают ли офицеры замыкания о нём? Что меня ждёт — Чёрная Отметка или что-то похуже? Я не был готов рисковать собой, проверяя эти догадки. Гнев начал закипать во мне, вытесняя страх. Я ненавидел Марту за эту игру. Если это была шутка — она была жестокой. Или я чем-то её так обидел, что она решила подставить меня?

Оставался последний вариант: я должен войти в эту дверь, чего бы это ни стоило. Но если я увижу её просто спящей, то уже не смогу ничего скрыть. Придётся предъявить письмо. Однако, тогда какие ко мне могут быть претензии? Письмо написала она, а не я. Пусть офицеры замыкания сами разбираются в её мотивах.

Решение пришло мгновенно. Я не могу проникнуть в каюту сам — мне нужны офицеры замыкания. Я ничего не собираюсь утаивать. Пусть увидят всё, как есть, и действуют по Регламенту.

Я развернулся и побежал к лифту. Путь на первый ярус, где располагалась Служба Внешнего и Внутреннего Замыкания, занял меньше минуты, но мне он показался часом. Двери распахнулись, и я бросился к служебному отсеку офицеров замыкания. Чья-то рука схватила меня за плечо и резко дёрнула назад. Я едва удержался на ногах, чудом не пропахав носом пол.

— Что вы себе позволяете, серв? — жесткий голос прозвучал как приговор. — Напомнить, где вы находитесь?

Я узнал Жомини. Его взгляд — колющий, оценивающий — пронзил меня насквозь.

— Серв Жомини, — выпалил я, задыхаясь, — прошу срочно проследовать со мной на третий ярус, в жилой сектор.

— И с какой это стати? — его голос оставался ледяным.

— Есть основания полагать, что с Мартой из Службы Здоровья и Генетики случилось несчастье. Я в своём уме, и не спрашивайте меня ни о чём сейчас. Я отвечу на все вопросы позже, хоть сутки. Нужно немедленно вскрыть её каюту! Ждать нельзя!

Жомини задержался на мгновение, затем коротко бросил:

— Ждите. Две минуты.

Он исчез за дверью. Время шло, я терпеливо ждал. Наконец, он вернулся уже облачённый в бронекастюм БК-1 «Бореал». С пояса свисал тёмный, увесистый брусок — магистральный шунтовой ключ. Я знал эту вещь: чёрный титан, вольфрамовый штырь, три светодиода: красный, жёлтый, синий. Без неё не открыть ни одну дверь в Курганах.

— Я готов, — отрывисто произнёс Жомини. — Надеюсь, вы понимаете, что делаете.

Мы двинулись по коридору. Двери здесь — не просто преграды. Это герметичные затворы, утопленные в стены, управляемые Оракулом. Магнитные замки держат их с силой

гидравлики. Вручную не сдвинуть. Только ключ офицера способен обмануть систему, ввести мастер-код и разблокировать доступ. Мы остановились у каюты Марты. Я указал на дверь.

— Здесь.

Жомини постучал — так, на всякий случай. В ответ — ни звука. Он выждал две минуты, затем приступил. Ловким движением он сбил сервисную заглушку под биометрической панелью и вставил коннектор ключа. Скрежет металла, тихое гудение встроенного изотопного генератора — и дверь с шипением отошла в сторону. Я зажмурился. В горле пересохло. Кулаки сжались так, что ногти впились в ладони. Холодный пот выступил на лбу. Я заставил себя открыть глаза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.